ПРОПАВШАЯ ПРОПАЩАЯ

Повесть

1

Когда Квашнин сказал Лене, что хочет отправиться за озеро к своим родичам-неандертальцам, она спросила: «А я как же?..» – и приготовилась плакать. «Ты что, малявка, разве ж я тебя брошу? Я обязательно вернусь», – ответил он ей тогда. Лена ему, конечно, поверила, и вопрос был исчерпан.

И вот двадцать три года спустя Квашнин возвращался, – правда, не из-за озера, а из подмосковной Лобни, – и думал именно о том, что Лену ему придётся бросить. Ещё не рассвело; по окнам автобуса постукивала снежная крупа; пассажиры дремали, а Квашнин смотрел в темноту и продолжал думать о Лене.

Первый раз он увидел её в школе. Он перешёл в шестой класс и, разумеется, глазом бы не повёл в сторону девочек-первоклашек, по-
явившихся в школе первого сентября. Однако Лену он приметил сразу: наряд праздничный, косички крендельком уложены и эскорт из родственников на месте, а она точно щеночек брошенный – такой неприкаянный у неё был вид. Вот эта щенячья неприкаянность и привлекла Квашнина. Распознав родственную душу, он возликовал и – на него напал смех: так неожиданно сдетонировала в нём радость. Весь день он, обычно замкнутый и немногословный, вертелся юлой, тормошил товарищей и дурачился без меры. «Чего это с Лёхой, взбесился, что ли?» – дивились одноклассники. А он радовался: предчувствие большой, крепкой дружбы веселило ему сердце.

Жили они в разных деревнях – Лена в Плотникове, центральной усадьбе колхоза (где и располагалась школа), а Квашнин в соседних Соломенцах – и из-за разницы в возрасте друг друга не знали. Знакомство их состоялось приблизительно через неделю после первого сентября. В тот день с утра зарядил дождь; Квашнин скучал на предпоследнем уроке, смотрел в окно и видел, как высыпали из школы отучившиеся своё первоклашки. Одних малышей встречали на машинах, других просто с зонтами, а те, кто жил поближе, разбежались по домам сами. Лена жила неподалёку от школы и дошла до своей улицы быстро, но на краю дороги остановилась (всё это время Квашнин не упускал её из виду). Потом она походила туда-сюда, потыкала перед собой сапожком и встала, понурила голову. Квашнин понял, что остановила её разбитая раскисшая от дождя дорога. Он попросил разрешения выйти и поспешил на выручку. «Ну что, застряла? – сказал он и, присев на корточки, добавил: – Залазь». Лена без колебаний забралась ему на спину. Он перенёс её через дорогу, проводил до дома и представился:

– Меня Лёшкой зовут, если что…

– Я знаю.

– Откуда же ты знаешь?..

– У девочек ваших, соломенских, спросила.

На вопрос Квашнина, зачем ей понадобилось узнавать его имя, она пожала плечами. Так он узнал, что не только он её приметил, но и она его. Школьные насмешники над их странноватым союзом, как водится, позубоскалили, но вскоре привыкли и перестали обращать внимание. Взрослые пытались вспомнить, в какой степени родства находятся Квашнины с Пименовыми. Вспомнить не могли, только путались. А с лёгкой руки Валентины Сергеевны, матери Лены, к Квашнину прилипло прозвище Зятёк. «Вон, Зятёк наш идёт», – завидев Квашнина, хмыкали плотниковские мужики.

И Квашнину, и Лене с семьями не посчастливилось. Отец Лены пил без пробуду, пока не утонул на лесосплаве в возрасте двадцати девяти лет. Мать – молодая красивая и чрезвычайно энергичная – долго не горевала, принялась налаживать личную жизнь. Налаживала так самозабвенно, что для дочери времени почти не оставалось. Дедушек-бабушек и других родственников у девочки было негусто, да и те вечно пребывали в каких-то застарелых дрязгах, этим тоже было не до неё. Так она и росла – принцессой кукольного бессловесного царства.

У Квашнина было по-другому. Несмотря на проказливость, за всё свое детство он получил не более пары-тройки оплеух; всегда был вовремя накормлен, одет не хуже других, но – не мог припомнить случая, чтобы мать его поцеловала или хотя бы словесно приласкала. Никаких «сыночков» или «Лёшенек» он от неё сроду не слышал. Лёшкой звала. С прохладцей встречали его и дед с бабкой – родители матери. Так уж, видно, у них было заведено.

Отец – мрачный, нелюдимый молчун – другой раз ерошил маленькому Квашнину волосы, скалил в усмешке крупные прокуренные зубы и спрашивал: «Ну что, охота, небось, девок пощупать?..» И хотя дальше этого общение их заходило редко, Лёшку к отцу тянуло. Он жалел его: чувствовал, что за отцовской сумрачностью скрыта большая тайная печаль.

Родителей отца Квашнин не видел ни разу, знал только, что живут они в глухой деревне за озером. Поговаривали, что отец в юности по неосторожности застрелил из ружья младшую сестру, из-за чего от него отвернулась вся родня. Когда в сорок неполных лет он умер от рака лёгких, на похороны из-за озера приехал только его двоюродный брат – неолитического вида мужичина, – чем-то неуловимо похожий на покойного. После поминок родственник подозвал одиннадцатилетнего Лёшку, погладил по голове и спросил: «Ну что, племяш, девки-то не дают ещё?..»

После смерти отца крохи семейственного тепла улетучились из пятистенка Квашниных окончательно, и Лёшка стал зябнуть. Как мать ни старалась: топила печь, пекла пироги, блины и оладьи, говорила с Лёшкой громко и весело – теплее ему не становилось. Он чувствовал себя заброшенным. Спасаясь от неприкаянности, Лёшка пристрастился к чтению. Однажды ему случилось прочитать книжку о приключениях доисторического мальчишки, благодаря чему он сделал открытие: всё указывало на то, что его отец – выходец из схоронившегося в заозёрных лесах племени неандертальцев. Проштудировав древнейшую историю, он в своей мысли утвердился и даже сочинил теорию, по которой выходило, что неандертальцы (они представлялись Лёшке грубоватыми, но простодушными, милыми существами) вовсе не исчезли с лица земли, а живут себе поживают бок о бок с людьми и крепко хранят свою тайну. Лёшка был горд родством с древним стойким народом и настолько этой идеей проникся, что даже ходить стал, как когда-то ходил отец, – и как, по его мнению, должны были ходить неандертальцы, – сутулясь и косолапя. Только вот зеркало его огорчало: сколько Лёшка в своё отображение ни всматривался, никакой первобытной дремучести он в себе не находил. Долгоносый светлоглазый мальчишка, каких кругом пруд пруди, – разве что челюсть крепкая, квадратом да шрам над губой (с сельницы упал) чуть-чуть суровости придавали.

Именно тогда, когда Лёшка готов был отправиться в заозёрные леса на поиски родственных душ, ему и встретилась Лена. Он менял девочке надетые не на ту ногу тапочки, подвязывал шарфик, на закукорках переносил через лужи, а в зимние метели обязательно провожал до дома. А она без тени сомнения протягивала ему руку – веди, мол, куда захочешь.

Так продолжалось, пока Квашнин не окончил школу и не ухал в Тверь учиться в техникум. Видеться они стали совсем редко и порядком друг от друга отвыкли, зато после окончания техникума стали встречаться каждый день. Было это в августе. Обычно в сумерках они прогуливались где-нибудь за околицей, потом возвращались в деревню, усаживались на первую подвернувшуюся скамейку и сидели там до глубокой ночи. Странные это были встречи: со стороны посмотреть –
влюблённая парочка, а приглядеться – не похоже. Не то что поцеловаться или там обняться – за руки не взялись ни разу. Так и ходили: она –
истомлённая созреванием, он – придавленный сводом надуманных «этических принципов». (Никак не мог взять в толк, что девочка давно выросла и требует внимания другого рода, нежели первоклашка.) Август был на исходе, небо полнилось звёздами; а они, безрадостные, всё кружили в романтических сумерках, кружили да так ничего и не выкружили – измучились только оба. Не сумели преодолеть барьера братско-сестринской любви, хотя всего-то и нужно было – руку протянуть. А осенью Квашнина забрали в армию.

Сразу после демобилизации он махнул в Сургут на заработки (мечтал вернуться в родное захолустье на иномарке и в кожаном плаще). Отработал полтора года и, когда вернулся домой, узнал, что Лена вышла замуж за грека (российского) и укатила куда-то в южном направлении. Квашнин сильно тогда расстроился: глупость несусветная – замуж в восемнадцать лет да ещё за грека. (Он, в общем-то, к грекам относился нейтрально или скорее даже с симпатией, но тут как-то вдруг проникся к ним недоверием.)

Потом Квашнин снова уезжал, не бывал в Соломенцах по полгода, а другой раз и больше. В один из таких приездов он узнал, что Лена с греком развелась, вернулась домой и начала попивать. Он тут же пошагал в Плотниково. Последний раз Квашнин видел Лену девушкой-подростком, поэтому, увидев молодую женщину, слегка смутился. В растянутом вороте кофты ключицы полочкой, округлости в лице да и во всём прочем как не бывало, но – всё равно красивая. Просидели до ночи, выпили бутылку вина. Лена предложила переночевать у неё, однако Квашнин отказался, ушёл. Хоть на первый взгляд и обрадовалась она ему и улыбалась и смотрела ясно, однако ж, видно было, что и улыбки, и ясность её нездорового свойства, с сумасшедшинкой, того и гляди в истерику сорвётся. Расспрашивать он её ни о чём не стал: побоялся хрупкое равновесие нарушить.

На другой день с утра снова пошёл. Всё-таки решил выяснить, что её гложет. Подходил к дому, когда Лена усаживалась в коляску «Урала». За рулём – пьяненький мокроносый мужичок.

– Куда собралась? – спросил Квашнин.

– Извини, Лёша. Надо в одно место съездить, – сказала Лена. Мокроносый газанул, и они уехали.

Так она и каталась – то на шабашку (питаться всё ж таки было нужно), то к очередному «жениху», то просто пьянствовать. Попадала, разумеется, в истории. Капитан уголовного розыска Глеб Баринов, местный уроженец и друг детства Квашнина, предупреждал: «Смотри, Ленка, допрыгаешься: грохнут кого-нибудь твои кореша по пьяному делу – соучастницей пойдёшь». «Пропащая! – цокали старухи. –
А ведь кака девчоночка была: пригоженька, складненька да умненька – вот они, греки-то…»

Со временем грек забылся. Квашнин всё так же уезжал, а когда возвращался, первым делом шёл в Плотниково. Застать Лену дома удавалось не всегда: в запое она моталась по округе, меняя места дислокации, как какая-нибудь нелегалка-подпольщица. Приходилось искать; телефоны у неё долго не задерживались, теряла. Если Лена была в запое, Квашнин добросовестно пытался её вытащить (с переменным успехом), если же выпадали дни завязки, они устраивали дружеские посиделки. Пили чай, но другой раз Квашнин позволял себе рискнуть и покупал бутылку вина. Личных тем в разговоре они по давно заведённому обычаю избегали и, несмотря на длинные паузы, обоим было легко и просто. Правда, так было не всегда. Временами она встречала его с прохладцей. Смотрела в окно, спрашивала что-нибудь вроде: «Как дела? Есть хочешь?» –
и смолкала. Ничего тягостней таких встреч и придумать было нельзя. Квашнин списывал это на раздражённость, расшатанность нервов и прочие последствия пьянства, хотя и сам в это не очень верил.

Лет десять кряду после того послеармейского заезда в Сургут колесил Квашнин по промороженным весям Сибири и Поморья. Поначалу работал на лесопильнях, стройках, даже на лесоповале себя испытал, потом прибился к нефтяникам и на том остановился. Привык, освоился, зарабатывал неплохо, и, возможно, так бы всё и продолжалось, если бы не случай. Проснувшись как-то под утро в общажном бараке на окраине таёжного посёлка Малый Кряж, Квашнин вышел по нужде и – не смог зайти обратно. Вроде и не новичок, и концентрация спящих тел в помещении была в допустимой норме – восемнадцать человек на пятьдесят с лишним квадратов, – ан нет, показалось невозможным зайти обратно. Померещился ему страшный запах распада, запах скотомогильника; началась рвота. Куски жгучей кислятины вылетали из него на снег, и снег сделался чёрным. Тогда Квашнин понял, что запас его прочности подошёл к концу.

Через сутки он был в областном центре, а вечером того же дня улетел в Москву. Домой решил не заезжать, созвонился с одним земляком, который уже несколько лет подвизался в столице, и переночевал у него на съёмной квартире. На другой день он подыскал недорогой, но вполне приличный хостел и принялся за поиски работы.

Устроился кладовщиком на хладокомбинат. Невеликая по московским меркам зарплата компенсировалась доступностью уценённых, в том числе и деликатесных, продуктов (была даже возможность приторговывать, но Квашнин этим не занимался – натуре претило). Арендовать квартиру в одиночку выходило накладно, точнее сказать, никак не выходило, поэтому приходилось кооперироваться по нескольку человек. Квашнина это не устраивало: та же получалась общага. Позвонил в риелторскую контору, где ему подыскали недорогую комнату в Лобне. Приблизительно через месяц он познакомился с Верой и вскоре перебрался к ней.

Вере тогда было тридцать шесть (на два года старше Квашнина), хотя, пожалуй, выглядела она моложе его. Высокая, фигуристая, миловидная блондинка, но – подать себя не умела совершенно. Одевалась как бог на душу положит; при ходьбе сутулилась; разговор вела сбивчиво, причём смотрела не на собеседника, а куда-то вниз и вбок – как бы бычилась, – отчего выглядела немножечко дефективной.

Жили они на редкость мирно и, в общем, не скучно. Летом, обычно по будням, ездили на дачу. Домик с участком в нецелые пять соток располагался рядом с озером Круглое, в двадцати минутах езды от Лобни. Когда Квашнину удавалось пораньше освободиться с работы, они на Верином «фольксвагене» отправлялись туда искупнуться. На выходные выезжали в Москву – гуляли на ВДНХ, бывали на концертах и даже в театре.

Квашнин был доволен: тихий ухоженный городок; уютная квартирка; славная, милая женщина – чего ещё желать? И он старался: устроился на вторую работу – на том же хладокомбинате – и зарплату получал завидную для многих. За полтора года, что они с Верой прожили, была обновлена мебель и полностью заменена бытовая техника – всё на деньги Квашнина.

Несмотря на всю эту лобненскую благодать, на Квашнина временами накатывало: и его планы по карьерному продвижению (метил на место завскладом), и мечты о «трёшке» в новом краснокирпичном доме, и даже мысль о будущем отцовстве – всё начинало казаться бессмысленным, зряшным вздором. Невнятная застарелая неудовлетворённость оживала в нём вдруг и принималась его глодать, лишала покоя. Он становился похож на лунатика: сбивался со счёта; отвечал невпопад; застывал посреди рабочего дня на пандусе и стоял так столбом, пока не окликали. (Быстрая, вёрткая мысль-догадка о причине приступов у Квашнина мелькала изредка, дразнила его – вот-вот осенит, – однако не давалась, пряталась.)

В деревню Квашнин ездил один, без Веры, за что она на него каждый раз дулась. Последний раз он был там в начале лета и в ближайшее время поездок не планировал. Но в середине ноября позвонила мать (она уже давно перебралась в райцентр) и сказала, что в их доме кто-то выбил стёкла и, возможно, побывал внутри. Попеняла, что он до сих пор не законсервировал дом как положено. Взяв на пятницу отгул, Квашнин собрался ехать. (Ездил автобусом, не желая по какой-то странной прихоти пользоваться машиной.)

Собирая саквояж в дорогу, Вера вздыхала: «Странный ты всё-таки, Лёша, и охота тебе на автобусе тащиться, да ещё с пересадкой. Не понимаю...» – «А тебе понимать не к чему – солдатское дело слушать и исполнять», – шутил Квашнин.

По стёклам автобуса постукивала снежная крупа; Квашнин думал о Лене и морщился, как от кислого. Бросить, отстраниться от неё окончательно было решением благоразумным – с одной стороны, с другой –
это выглядело если и не предательством, то чем-то вроде того. Квашнин в таких вопросах был щепетилен, поэтому думал, морщился и не мог ничего решить.

2

В картузе, телогрейке и валенках дед Тимофей восседал на завалинке чуть не по окна осевшей в землю избушки. Лёшка стоял на обочине дороги и смотрел на рот старца. Уж больно ему хотелось взглянуть на волшебную лягву, которую, как было известно, дед проглотил, чтобы никогда не умирать (и правда не умирал). Вот Лёшка и караулил, выжидал момент – может, зевнёт старик или чихнуть захочет, а жаба тут как тут – тоже, небось, ждёт не дождётся…

Так и не открыв рта, Тимофей заклубился дымом и пропал вместе с избушкой. Его сменил Сашка Смирнов, товарищ детских игр, который, по слухам, томился в очереди в «Форбс», жил то ли в Германии, то ли в Америке и в Соломенцах не появлялся уже лет пятнадцать. Сашка щурился слезливо (похоже, пьян) и говорил: «Может, выпьешь стопочку, а, старичок?.. Глядишь, и полегчает…» Он приподнимал голову Квашнина с подушки и пытался влить в него отвратительно пахнущую жидкость. Пощипывая потрескавшиеся губы, жидкость скатывалась по подбородку. «Сашка, отстань ты от меня Христа ради…» – просил Квашнин, но скоро понимал, что не говорит, а просто шевелит губами.

После Смирнова являлась тётя Катя Мишинкина, одинокая хромая вдова, над которой Квашнин ещё подростком «взял шефство» – помогал ей по хозяйству. Что-то неразборчиво шепелявя, старуха поправляла ему подушку и – оборачивалась могучей усатой женщиной в белом халате. Усатая богатырша вертела Квашнина, как куклу, и больно колола в зад.

Прошли сутки, как Квашнин впал в беспамятство. Вышло так: по приезде в Соломенцы он натаскал в избу воды, затопил печь и занялся стёклами (разбитым оказалось только одно стекло в сегменте наружной рамы). Закончив с этим, принялся за приборку. Потом заварил чай и сел у окна. Решал: идти к Лене или не идти.

От размышлений его отвлёк Женька Виртанен, друг детства, наезжавший временами из районного центра. Принёс бутылку водки. Пожалуй, Квашнин отказался бы от выпивки – даже наверняка отказался бы, приди кто другой, но с Женькой, кудрявым весельчаком и рубахой-парнем, не выпить было грешно. Выпили бутылку, и так стало Квашнину уютно, тепло на душе, что в обход своего правила придерживаться нормы он полез в подпол за заначкой. А когда ополовинили вторую бутылку, оба, почти синхронно, уткнулись в окна: мимо дома проходила ладная, пригожая молодуха. Евгений стукнул в стекло; девушка взглянула, улыбнулась и – свернула к крыльцу. Через минуту Ксюша –
так представилась гостья – сидела за столом.

Только подняли стаканчики «за знакомство», как за окном промелькнули тени. «А вот и мои идут!» – пискнула девица. Когда «мои» зашли в дом, Квашнин про себя выматерился: это были Худяки – мерзопакостнейшая семейка, а лучше сказать, шайка под водительством известного на всю округу пропойцы и вора Константина Худякова. Тут Квашнин и Ксюшу узнал запоздало, вспомнил: видел её, когда она была ещё замарашкой-подростком.

Вот таких гостей накликал милейший финн. Накликал и вскоре смылся, прихватив с собой девку. Продолжать посиделки с Худяковым Квашнин, хоть и был пьян, не стал бы – брезговал. Но, глядя на Елизавету, мать Ксюши, которую помнил ещё по школе, размягчел, повёл беседу. Пили принесённый гостями медицинский – по их заверениям – спирт, пока не стемнело. Как расходились, Квашнин уже не помнил. Проснулся под утро и сразу понял: дело плохо. В темноте, зная по опыту, что свет будет непереносим, доковылял до ведра с водой, выпил, не отрываясь, литровую кружку. Вода показалась тёплой, противной. Собрался с силами и отправился к колодцу. На обратной дороге, в сенях, хлопнул по лбу: телефон, деньги – всё упёрли, сучье отродье! Наверняка упёрли! Пошарил по карманам – всё на месте. Не иначе как чудом пронесло. Позвонил Вере, потом на работу. И там и там предупредил, что задержится, приболел, мол.

Всё утро, весь день и всю ночь Квашнин тушил горящее нутро ледяной водой, но вода вылетала обратно. Тошнота отпускала только во время сна. Спал всё дольше, видения детства сменились бредом. Он блуждал по ломким обесцвеченным от зноя местам под перекрёстным огнём сразу двух светил: одно солнце палило с неба, другое – жгло изнутри. Всплывающие картинки прошлой жизни желтели по краям, сворачивались в комки и, испустив язычок пламени, рассыпались прахом. Квашнин чувствовал, что и сам он желтеет, скукоживается, и готов был окончательно испепелиться, как вдруг – прикосновение: влажное, прохладное, живительное. Ко лбу и губам. Он очнулся, открыл глаза, и увидел Богородицу: склонённая к плечу голова, абрис лица, глаза – всё как на образах, только взгляд живой – с бликами от близких слёз. И столько в этом взгляде было сострадания и любви, что Квашнин заплакал и сказал, вернее, отстукал языком-деревяшкой: «Матушка, спасибо тебе…» – «Спи, миленький, засыпай», – сказала Богородица голосом Лены. И он уснул – крепко, без сновидений.

Проснулся от шума – кто-то возился у печки. По шепелявому бормотанью Квашнин узнал тётю Катю Мишинкину. Лежал, морщил лоб: пытался сообразить, сколько времени он провалялся. Не сообразил и спросил у старухи. «Оклемался, слава те господи… – заморгала тётя Катя. – Вторник сегодня. Я ить и не знала, что ты тут свалился. Ладно Сашка Смирнов зашёл, сказал. Он и за фельдшерицей сходил. Ругался с ней: как хочешь, говорит, в больницу его вези. Да ей что: хоть ссы в глаза – всё божья роса. Нет, говорит, мест, и всё тут…»

Поблагодарив тётю Катю за заботу и особенно за прохладные компрессы (помогли, мол), Квашнин спросил, не навещал ли его ещё кто, не считая Смирнова? От компрессов старушка открестилась: примочками, дескать, нутряную хворь не вылечишь. Никаких других посетителей, кроме Смирнова и медички, она не видела.

Тётя Катя затопила печь и, пригласив Квашнина пообедать, ушла. Он поднялся. Посуда после пьянки убрана, на столе блюдо с водой и аккуратно сложенное вафельное полотенце. Квашнин дотронулся – влажное. Значит, всё-таки не ошибся – были компрессы. Неужели Лена заходила?

Он оделся, вышел на улицу. Постоял у крыльца, глянул в небо: хмарь… Заулком прошёл в припорошённый снегом сад, остановился у колодца. Потрогал позеленевший ворот; вспомнил как в юности, возвращаясь с гулянья, шёл меж цветущих яблонь к колодцу, пил, а в ведре покачивались белые лепестки…

Затопил баню. Печка покапризничала, откашливая из устья дым, потом загудела исправно. Присев в предбаннике у окошечка, Квашнин призадумался: была Лена или приснилась? Если не приснилась –
уехать, её не повидав, никак нельзя. Последние год-два казалось, что редкие его визиты её раздражают, что терпит она его только из деликатности, в память о прежней дружбе. И вдруг (если не приснилось) такой взгляд. Только однажды она так на него смотрела – давно, в детстве. Как-то в середине лета – Квашнин уж и не помнил, к кому и зачем, – он пришёл в Плотниково. И ему крикнули: беги, мол, невесту свою спасай – тонет на пруду. Крикнули-то смехом, но Квашнин, не разобравшись, припустил бегом (пруд был за околицей). Бежал и ругал себя за паникёрство: пруд невелик, а Лена – ей тогда было лет десять –
неплохо плавала (сам учил). Добежал. На крохотном накренившемся посреди пруда плотике Лена утешала хнычущую подружку, которая, как видно, плавать не умела. Квашнин разделся до трусов, подплыл и отбуксировал плотик к берегу, но уже на выходе из воды напоролся ногой на стекло. Кровь шла волной, пришлось порвать футболку и бинтовать. Пока он этим занимался, Лена, присев рядом на корточки, поглаживала его по спине. Вот тогда она так на него смотрела – сияла сквозь слёзы, точно расплакаться хотела и запеть одновременно. Смутила его. И он послал её поискать какую-нибудь палку, чтобы опираться при ходьбе.

Не только влюблённый взгляд Лены смутил тогда Квашнина – прикосновение её ладошки. Вдруг кольнула его иголочка вожделения, да так остро, так явственно, что, растерявшись от подлого фортеля организма, он едва не потянулся к причинному месту, чтоб прикрыть. Вовремя опомнился и ошарашенный, оглушённый стыдом замер. Кое-как сообразил отослать девчонку за палкой. И, ковыляя в свои Соломенцы, весь исплевался: «Сука! Урод! Извращенец проклятый!..» – шипел он, выпячивая челюсть. Так с тех пор при малейшем намёке на подобный позыв (Лена-то подрастала) Квашнин и выпячивал челюсть, ярился, негодуя на плоть, и воли себе не давал. И давно уже Лена выросла, а ему всё слышался писк необъяснимого зуммера, как бы предупреждающего о недопустимости инцеста, точно и вправду она была его маленькой сестрёнкой.

Решился: позвонил на работу и, сославшись на форс-мажорные обстоятельства, попросил отпуск. Для Веры вариант с форс-мажором не годился. Пришлось врать: сказал, что выздоровел, но должен задержаться из-за судебного разбирательства по поводу земельного участка (вспомнилось, на счастье, что-то подобное). Уладив с Верой, вздохнул свободнее и уже в сумерках отправился к Смирнову.

Тот одевался в прихожей. «Дружище! Выздоровел?.. А я как раз к тебе собирался. Проходи, я сейчас, мигом...» – захлопотал бизнесмен. Первым делом взялся за бутылку (видно, что под хмельком). Квашнин пить отказался, попросил чая. Сидели: хозяин пил водку, гость – чай. Высокий, атлетичный, красивый Александр рассопливился: «Ты не представляешь, старичок, как подло всё… Только и слышишь – дай, дай, дай! Домой придёшь – и там тоже дай! К чёрту всё: разведусь, бизнес продам, буду просто жить – вот как сейчас…» – грозился он.
О многом ещё говорил богач-горемыка, не забывая опрокидывать стопки. Говорил, что нашёл здесь обронённую в детстве душу; говорил о Боге, до которого тут рукой подать, но который почему-то не спешит выказывать ему, несчастному, своего благоволения.

Квашнин слушал, однако сочувствовать не спешил. Звякнут завтра –
и умчится, чтоб очередь к «Форбсу» не проворонить. Хотя кто его знает: чужая душа – потёмки. Собравшись уходить, он поблагодарил Смирнова за медичку и за компрессы.

– Да брось, старичок, мы же как братья... – сказал тот и добавил: – А компрессами я, кажется, не занимался. Тётя Катя, наверное, позаботилась. Прекраснейшей души человечек, согласись, брат…

– А больше никто ко мне не заходил?

Смирнов ответил – снова прибавив «кажется», – что, кроме тёти Кати, он никого не видел. Квашнин попрощался и вышел. Постоял у крыльца, глядя на редкие огоньки Плотникова, подумал и двинулся к большаку.

Одиннадцатый час вечера; Плотниково в дрёме. Светящихся окон по пальцам перечесть, на улице ни души. Пенсионеры и фермеры ложатся рано. Пустынной улицей Квашнин дошагал до дома Лены. Окна темные; на снегу – у калитки и за ней – ни следа. На двери замок. Минуту Квашнин прислушивался, не долетят ли откуда звуки хмельной пирушки, однако было тихо. Двинулся дальше. Остановился у ветхого двухэтажного коттеджа, подёргал дверь – заперто. Постучал. Через пару минут послышались шаги. «Кто?» – едва слышно спросили из-за двери. «Я это – Лёха», – сказал Квашнин.

Дверь открыл согнутый крючком человечек с загипсованной рукой. Ничего не сказав, он стал подниматься по лестнице. Квашнин следовал за ним. В коморке площадью два на четыре метра за дрейфующими пластами табачного дыма светились спирали громадного самодельного обогревателя. Стояла жара; за стеной – звуки застолья.

– Лена не заходила? – спросил Квашнин.

– Заходила вроде на той неделе, хотя… точно-то и не помню. Болею я, Лёшка, зябну что-то всё…

Борис Кадетов, двоюродный брат Лены, пил без продыху лет пятнадцать и оттого совсем захирел. А когда-то родители всей округи ставили Бориса в пример: учился отлично, не курил и даже не сквернословил. Окончив школу, поехал в Москву поступать в университет. Однако не поступил и загремел в армию. Из армии вернулся квёлым, будто прибитым, пристрастился к выпивке. Так с тех пор и не просыхал.

– А у соседей твоих её случайно нет?

– Нет, с Зинкой она не ладит… – Борис хотел что-то добавить, но ему помешали. «Сука!! – взревел за стеной раскатистый баритон. – Ты это зачем, гнида, а?!» Послышались возня, придушенное хрипение и снова вопрос: «Говори, дрянь, зачем это, а?! Зачем?!» – «Да чё, зачем?.. Не понимаю я, не по-ни-мааа…» – блеяла женщина.

– Я вот тоже не понимаю, – прошептал Борис, – зачем да зачем, а что зачем?.. – неизвестно. Каждую ночь так, хоть уши затыкай. – Мелкий, щупленький – ни дать ни взять мальчишечка десяти лет – он крючился на кушетке, точно маялся животом. Под свитерком крылышками торчали лопатки.

«Лепестками белых роз…» – затянул за стеной вихляющий тенорок. К тенору подключился женский голос, а за ним неузнаваемо изменившийся баритон – он стал томен и нежен. «Авы-ы-ыыы…» – подхватил вдруг Борис страшным нутряным басом. Он резко выпрямился, выбросил перед собой скрюченные руки и, захрипев, косо повалился на пол. Начался припадок. Квашнин придерживал больному голову, пока тот не затих. Потом он уложил Бориса на узкий жёсткий топчан, присел рядом. Через несколько минут Кадетов приоткрыл глаза. Он долго смотрел перед собой погашенным, без проблеска, взглядом, потом скосил глаза на Квашнина и прошмякал: «Оды дай». Квашнин его напоил, посидел ещё немного и вышел.

Решил зайти к Юре Шапошникову, бывшему однокласснику. Лена частенько там бывала. Дверь в сложенный из шлакоблоков дом была приоткрыта. Внутри, как и снаружи, изо рта выходил пар. Хозяева были на кухне. На подоконнике чадила керосиновая лампа. Ольга Монахова, сожительница Шапошникова, спала за столом, разметав сивую гривку по вороху капустных ошмётков. Она была в одной сорочке и слегка посинела, однако не дрожала – посапывала себе и даже причмокивала сладко. Шапошников сидел напротив. Его опухшее, но всё ещё благообразное лицо выглядывало из воротника долгополого тулупа. Он безотрывно, не мигая, смотрел на огонёк лампы. Квашнин поздоровался, но Шапошников не ответил.

– Здорово, говорю. Оглох? – сказал Квашнин.

Моргнув, Юрий с усилием разомкнул губы:

– А, Лёха, приехал… Чё, накатался там на каруселях?.. А мы тут погибаем помаленьку…

– Лена не знаешь где?

– Давно не видать. Она теперь на греке через реку – прыг-скок… или как там?..

Квашнин вздохнул и пошёл к выходу. В дверях обернулся:

– Печку затопи, мудила. Заморозишь бабу-то…

Он заходил ещё по двум адресам, и оба раза неудачно. В одном доме шла рукопашная, в другом – спали. В двенадцатом часу ночи он отправился домой.

3

– Ну как, москвич, попробовал нашенского вискаря?.. – вопрошал Витя Шишов. Он стоял у порога, расставив ноги в нескладных валенках раструбом, и улыбался от уха до уха.

Дружили они класса с третьего, Квашнин Витьку любил. Да и не он один – все любили простодыра Витьку Шишова: мёду надо, а до пенсии далеко, – пожалуйста, Витя не откажет; сена до весны не хватило –
не беда, у Шишова сено не переводится; деньги нужны – Витя выручит. А отдать вовремя не можешь, так Витя же и успокоит, приободрит: ничего, мол, друг, не переживай – сочтёмся, не последний год живём. Любить-то его любили, однако посмеивались втихомолку: с приветом, дескать, парень.

Уже лет десять Шишов жил один в обезлюдевшей окружённой лесом деревне с зажигательным названием Красный Вихрь. Электричество ему давал генератор, средства на жизнь – пасека и домашний скот.
И в лесу промышлял – браконьерил, но без жадности, с умом. Потомственный был охотник: отец, дед, прадед – все охотничали. А Виктор, как говорили, их превзошёл – следопыт и стрелок от бога. Ещё мальчишкой фокусы с рогаткой показывал: что ни подкинь, влет сшибал, даже в недозрелые ещё, мелкие яблоки исхитрялся попадать.

– Я вчера вечером только и узнал. Танька, медичка наша, сказала, –
продолжал Шишов раздеваясь. – Говорю ей: «Что ж ты его в больницу не отправила?» – а она: «Пьют всякую дрянь, а потом в больницу их, алкашей, устраивай. Ничего, продрищется твой Лёха», – и хохочет. Противная баба – и лицом не удалась, и характерец не приведи господи. А тебя как угораздило травануться-то? Ты ж вроде аккуратно пьёшь.

Рассказывая, как было дело, Квашнин разливал чай.

– Чаю-то я и дома мог попить… – заворчал Шишов. – Я пузырь привёз. Сам гнал.

– Ну, если сам – доставай…

Они выпивали, разговаривали, прыгая с одного на другое, потом Квашнин спросил о Лене. Шишов ответил, что давно её не видел, и, как всякий раз, принялся сокрушаться о её нескладной судьбе. И, как всякий раз, дивился: как так вышло, что Квашнин на ней не женился. Все, дескать, так и думали…

Вспомнили Сашку Смирнова. Тоже пожалели: давно известно – мир в душе за деньги не купишь.

– Нет, Витёк, – говорил Квашнин раздумчиво, подперев щёку ладонью, – не просто так он мается. О Боге говорит, а люди о Боге вспоминают, когда уж совсем жить тошно.

– А я вот без всякой оглядки верю. Люблю Христа, и всё. Как по-
думаю о нём, вот тут у меня тепло делается, – хлопал по груди Шишов.

На улице запуржило. Гость задремал на диване; Квашнин выключил свет и вышел на улицу. Напоил лошадь Шишова, подкинул ей из саней сена, потом занёс в избу дров и затопил печь. Курил, присев на корточки у печного устья, и думал о том, что за безоглядную любовь к Христу Витьке Шишову воздастся сторицей, должно воздаться.

Уже в сумерках Квашнин с Шишовым отправились в Плотниково. Лены дома снова не было. В Ёжево – деревню, куда она частенько наведывалась к попивающей тётушке, – Шишов ехать отказался (дома скотина не кормлена).

– Завези меня в магазин, потом к Шапошникову, и свободен, – сказал Квашнин.

В магазине он купил три бутылки водки, после чего Шишов отвёз его до места и ускользнул в сумерки.

На этот раз в доме Шапошникова было теплее, чем на дворе, однако не намного. На столе теплилась керосиновая лампа. Укрывшись по глаза одеялом, на диване ёжилась Ольга. «Две недели не просыхали. Думали, окочуримся на хрен оба, а тут раз – и ты! Нет, всё-таки есть Бог на свете, есть!» – радовался Шапошников. Первые рюмки выпивали под аккомпанемент его выдохов, фуканий и кряканий. Возбуждённый нежданно привалившим счастьем, Шапошников болтал без умолку, поглядывая то и дело на пакет с бутылками (при каждом таком взгляде он непроизвольно сглатывал, и кадык его дёргался вверх-вниз). На просьбу Квашнина отвезти его в Ёжево он откликнулся с готовностью.

Тудук-тудук-тудук – били копыта, отбрасывая дорогу под сани. Ёкая селезёнкой и поминутно пуская ветры, трусил мерин по тянувшейся меж сосновых посадок дороге. Квашнин, прикрываясь рукой в перчатке, нагибал голову: мелкий жёсткий снег сёк лицо. Скоро въехали в Ёжево. В середине деревни Шапошников свернул к домику с покосившимся фронтоном. В окне светил огонёк. Постучали. Тётка Лены ответила из сеней (не открывая двери), что Лену она не видела уже около месяца и думает, что «эта дура чокнутая могла и к грекам проклятущим умотать – за смертушкой своей».

Заехали к Володе Целовальникову, общему однокашнику. В жарко натопленной избе вечеряли. Хозяин и ещё один общий однокашник Алексей Воробьёв сидели за бутылкой. У плиты хлопотала мать Целовальникова. С беззубой дурковатой улыбкой хозяин поднялся гостям навстречу: «Ёшкин кот! Никак Квашня?! – заорал он, откидывая с лица рыжее нечёсаное “каре”. – Откуда?.. Выгнали из Москвы-то, что ли?..»

Гости разделись, сели. Квашнин выставил бутылку. Сидевший рядом Воробьёв сунул заскорузлую пятерню:

– Здорово, тёзка. В отпуске?

– Да вроде того. Как поживаешь? – Взглянув на приятеля, Квашнин отвёл глаза. Тёмная задубелая кожа, возле скул косая линейка морщин –
ни дать ни взять шестой десяток мужик разменял.

– Нормально. Шабашим потихоньку – у кого печку переложить, у кого крышу залатать. Курей держу. Жить можно…

Через час все, кроме матери Целовальникова и Квашнина, который пил клюквенный морс, запьянели. За столом поднялся галдёж. Больше всех шумел хозяин: выкрикивал разную несуразицу и сам же потом хохотал. На него сердились, хлопали по спине, кричали ему: «Да замолчи ты, заткнись, дай сказать!» – а он всё гоготал, всё заходился с привизгом и всхлипами, распяливая беззубую пасть.

Дождавшись паузы, Квашнин спросил:

– Лену Пименову никто не видел?

– В сентябре заходила, – негромко на этот раз молвил Целовальников и добавил, покосившись на Квашнина: – Хотел её чпокнуть. Не дала. Я, говорит, человека одного люблю – и плачет. И вот я озадачился, –
продолжал он раздумчиво, – что же это, думаю, за человек такой, что за крендель?.. Где он, кудрявый, ползает, когда девка по нём плачет, а?.. –
Целовальников замолк; лицо скособочилось. – Сука! Да я за Ленку… Убью! – заревел он, ударив по столу. Стаканы и бутылки подпрыгнули, одна упала. В тот же момент, не вставая со стула, Воробьёв захватил шею друга в удушающий захват; оба повалились на пол.

– Тёть Мань, верёвку, – просипел Воробьёв, сдавливая горло Целовальникова борцовским замком. Женщина шмыгнула в комнату и тут же вернулась с мотком верёвки. Она навалилась на ноги сына, которыми тот бил в воздух, словно сваленный забойщиками бык, и в несколько быстрых движений связала их. Затем, уже вдвоём с Воробьёвым, они связали бузотёру руки. Извиваясь червём, связанный изрыгал проклятия, плевался, но, обессилев, уснул.

– Весь в деда своего Ивана, – качала головой мать, – дурак дураком.
А проспится, спасибо нам с Лёшкой скажет. Каждый раз спасибо говорит.

Гости стали собираться. Вышли на улицу. Снег больше не падал; было тихо.

– Домой или куда?.. – спросил Шапошников.

– Давай в Хорькино. Может, там у кого застряла, – сказал Квашнин.

Мерин едва плёлся. Вдалеке светилась рваная цепочка огоньков.

– Господи, скорей бы весна, – вздыхала Ольга. – Живём как в Заполярье – день от ночи не отличить.

– Зима ещё не началась, – отозвался Шапошников и, гикнув по-разбойничьи, хлопнул вожжами. Мерин перешёл в галоп. Огоньки приблизились; скоро въехали в деревню.

Заехали к Татьяне Осиповой, известной гуляке и многодетной матери-одиночке. В двух окнах необшитой пятистенки горел свет. Квашнин с Шапошниковым поднялись на крыльцо. Стучать не пришлось: дверь в сени приоткрыта. Зашли. Из передней комнаты доносился приглушённый храп. На люстре без рожков светились две тусклые лампочки-сороковки. В переднем углу на диване, точно живой, шевелился ворох тряпья. В промежутках между всхрапами слышалось детское щебетание; в ветоши мелькали тёмные, светлые, рыжие головёнки.

– Сколько ж их там? – изумился Квашнин.

– Не плюй на ветер – Танька Осипова залетит, – хмыкнул Шапошников и добавил: – Вон она, сука бесстыжая.

«Сука бесстыжая» храпела на брошенном у голландки матрасе. Верхняя половина её обнажённого тела была прикрыта скомканным одеяльцем; нижняя – с довольно ещё взглядными формами – раскинулась вольготно, выставив напоказ кучерявенький взгорок. Любуйтесь, мол, не жалко.

– Лёха, а давай, подпалим мочалку-то, – фыркнул Шапошников.

Квашнин взглянул на него строго и пошёл к выходу.

Заехали по ещё одному адресу. Дом Николая Шитова был тёмен и глух. Однако когда Квашнин постучал в окно, в глубине дома затеплился огонёк. Потыкавшись туда-сюда, огонёк подплыл к окну. За стеклом возникло лицо – белое, с мёртвенно-выпученными глазами.

– Эй, – гаркнул Шапошников, – Ленка Пименова не у тебя?

Глаза за стеклом выпучились ещё больше. Рот широко открывался и закрывался. «Ма-ма, ма-ма…» – прочитал по губам Квашнин.

– Пойдём отсюда, – сказал он, – видишь, белку словил.

Поехали на край деревни к тёте Лиде Шмелёвой. Тётя Лида, кряжистая, носатая, похожая на ряженого мужика пенсионерка, гостям всегда была рада, но с условием – «окаянненькую» на стол. «Окаянненькой» она называла водку или же самогон (вино у неё именовалось «красненьким»). Лену тётя Лида не видела с позапрошлого месяца и ничего о ней не слышала.

Сели за стол, ополовинили бутылку «окаянненькой», после чего Шапошникова потянуло на танцы. Тётя Лида достала с шифоньера коробку с пластинками, затем разгрузила заставленную всякой всячиной радиолу. «Словно снегом заметает грустным вальсом зал…» – на удивление чисто поплыло из покрытого светлым лаком ящичка. Шапошников с Ольгой принялись танцевать. Квашнин вертел в пальцах стаканчик с недопитой водкой, смотрел. Грустно стало. Старая песенка, а поди ж ты, как их проняло. Топчутся, льнут друг к дружке, оттаивают бедолаги: назяблись в стылом своём логове. Размягчела и тётя Лида и уже не похожа на мужика – просто старая женщина. Жмурится в уголке дивана, перебирает неуклюжими пальцами узелки памяти: из её молодости песня.

Ночь на дворе; снова по стёклам шуршал снег. Остались ночевать. Утром Квашнин сходил в уборную, потом вышел из дома. Из-за угла вывернула рыжая собачонка. Увидев чужого, отпрянула и, задрав мордочку, заголосила тонко тоскливо – то ли залаяла, то ли завыла. «Сгинь ты, чучело…» – буркнул Квашнин. Поморщившись, сплюнул. Всюду одно и то же – безлюдье да собачий брех. Он растёр лицо снегом и зашёл в избу. Выпили по кружке слегка подкрашенного чая и отправились. Уныло повесив несоразмерно большую голову, мерин тянул сани.

Расставшись с Шапошниковым и Ольгой у их дома, Квашнин пошагал в Соломенцы. Проходя мимо дома Лены, глянул: на двери замок. Завернул к одному, потом другому фермеру, к которым Лена время от времени нанималась подработать, и там ничего нового не узнал.

Дома прилёг, но сон не шёл. Поднялся и, раздумывая, куда могла запропаститься непутёвая бабёнка, слонялся из угла в угол. Уснул под вечер. На другой день проснулся вялый, провалялся в кровати до обеда. В конце концов надумал сходить в Воронью Ногу, где Лена одно время жила и работала у мелкого фермера (кажется, ей там нравилось). Идти двенадцать километров – далековато, однако понадеялся на попутку. Понадеялся, как оказалось, зря. Машины проносились мимо, обдавая Квашнина морозными вихрями. Так и прошагал до самой Вороньей Ноги.

Фермер, у которого когда-то работала Лена, крашеный брюнет с удивительно белой кожей и бульдожьими щёчками, сказал, что не видел Лену уже полгода и что в Вороньей Ноге её точно нет. Пригласил Квашнина в дом передохнуть. (Несмотря на любезность, фермер Квашнину не понравился: чувствовался в нём какой-то потайной изъянчик.)

Обругав равнодушных автомобилистов негодяями, хозяин захлопотал у стола (приготовлял чай).

– Хорошая девушка – душевная и неглупая, а вот привязалась к заразе и сама не рада, – щебетал он пионерским дискантом, ежесекундно обирая с углов рта воображаемые крошки. – Хотя понять можно: жалко ребёночка-то, тем паче первенький. Сгубили негодяи дитё…

Ребёнок – вот в чём дело!.. И не сказала… Чужому, похожему на поганый гриб человеку сказала… Как же так?..

– А я ей и говорю: давай, мол, дорогуша, сходиться. Понимаю, что молодая, так можем, говорю, и во плоти жить – не гляди, что стар, – откровенничал фермер.

Обратной дорогой Квашнин шёл затемно. Изредка мимо проносились машины. Он уже не голосовал: засветло не останавливались – в темноте и подавно не остановятся. Смотрел на редкие тонущие в волглых сумерках огоньки деревень и по-собачьи вздёргивал край губы –
скалился на себя. Как можно было не понять, не догадаться, что не просто так, не с бухты-барахты слетела она с катушек? А может, потому и не догадывался, что повод удобный – выбросить из головы... Полы ламинированные, тапочки с помпонами и прочее, а Лена что?.. Мешает только... И она это, конечно, чувствовала, знала. Сколько же обиды пришлось ей снести?.. Ведь с самого детства, как два бесхозных щенка, лепились друг к дружке: тепла искали, любви недоданной обоим в семьях – как без этого детям? Она душой привязалась, уверена была: уж на её-то Лёшку можно положиться, какие тут сомнения. Зимой на колени вставал, на ручки её замёрзшие дышал, на закукорках носил, когда дорогу заметало. И вот: у него – тапки с помпонами, а у неё ребёнок мёртвый да пустая изба, где на каждом штыре в матице петля мерещится. Почему же так вышло?.. Ведь та русоголовая маленькая девочка, которую он так любил (да и сейчас любит ничуть не меньше), никуда не делась, не исчезла – она там, внутри повзрослевшей Лены, и все слёзы выплакала от обиды. Да, да, выплакала – и словечком не обмолвилась. Безмятежность его боялась нарушить. Всегда такой была –
великодушной…

Низкие тучи разродились снежной моросью, а Квашнин вздохнул, наконец, с облегчением. Решил бесповоротно, что когда найдёт свою сестричку или суженую (чёрт её разберёт!) – он её больше не оставит. Ни на день.

Когда он уже миновал Плотниково, какой-то доброхот на «десятке» (как в насмешку) притормозил. Квашнин отмахнулся: проезжай, мол, дойду теперь. Дома прилёг на минуту и уснул. Устал с непривычки.

4

С утра пораньше Квашнин рисовал карту-схему, обозначая близлежащие деревни (надеялся таким образом быстрее сообразить, где ещё поискать свою пропажу). Не успел и до половины нарисовать, как вспомнил об Остовищах и о Насте Пановой, с которой Лена, бывало, загуливала. До Остовищ рукой подать – всего километра два с половиной, – но дороги туда зимой не было. Платить трактористам остовищенские старожилы были не в состоянии, так что торили тропу сами.

Квашнин запер дом, встал на старые охотничьи лыжи и, взяв на прицел тёмные зубчики остовищенских изб, тронулся. Не доехал и до забора, как его окликнул Смирнов. Бизнесмен был трезв, небрит и вид имел разнесчастный. Тоже захотел на лыжах прогуляться. Сопровождающие были Квашнину ни к чему, но он товарища пожалел: «Иди, собирайся».

Ехали полем; из-под тонкого слоя снега торчал чертополох. Низкое дымчатое небо скатывалось на край озера. Мокрый снег лип к лыжам; лыжники матерились. Поле пошло под уклон. Внизу, в лощине, заброшенная ферма; на другой стороне, на взгорке, редкие избы Остовищ. Спустились к ферме, которая представляла собой комплекс из нескольких полуразрушенных коровников, сараев и хорошо сохранившейся избушки – бывшего красного уголка. Покрытые снегом крыши коровников местами были провалены, в окнах шуршали обрывки целлофана.

Проходили мимо красного уголка. На двери – замок. От двери в сторону деревни тянулся наполовину заметённый след полозьев.

– Смотри, кто-то здесь бывает, – заметил Смирнов.

Квашнин подъехал к окну. Стекло в грязных потёках – ничего не разглядишь.

– Лёш! – крикнул из-за угла Смирнов. – Поди-ка…

Квашнин подошёл и, касаясь носом стекла, присмотрелся: край железной кровати, матрас, одеяло, мятые простыни.

– Видишь?.. – напряжённым шёпотом спросил Смирнов.

Квашнин зашарил взглядом по буграм и складкам скомканной постели. Так и есть – под простынёй вырисовывались контуры плеча и бедра. Обогнув угол, он подъехал к двери. Подёргал замок, пошатал его; пробой сидел мёртво. Тогда он принялся обрабатывать дерево вокруг пробоя острым концом лыжной палки.

– Может, не стоит? – сомневался Смирнов. – А вдруг там труп… Лучше в полицию позвонить.

Ничего не отвечая, Квашнин продолжал ковырять косяк. Через пару минут замок вместе с пробоем полетел в снег. Квашнин шагнул в сени, замер на мгновенье перед дверью, потом открыл и шагнул за порог. Кроме вороха грязного белья, на кровати ничего не было.

– Показалось, – сказал Смирнов.

– Интересно, кто здесь ошивался? Бельё вон принесли… – говорил Квашнин, оглядывая комнату. Под закопчённым потолком подвешена «летучая мышь». У стены стол и два колченогих табурета. На столе – объедки, пустые бутылки, стакан. От кособокой, кое-как обляпанной глиной печки несло гарью.

– Да уж, бельё… – морщился Смирнов.

– Кровь, кстати, на простынях-то. Видишь пятна?..

– Рандеву в колхозном стиле – выпили, спарились и драться сцепились…

Квашнин первым вышел на улицу. Смирнов чем-то громыхнул в сенях, вскрикнул и с перекошенным лицом, пятясь, будто от удара в челюсть, выскочил на улицу. Его вырвало.

– Глянь-ка… – провыл он, растирая лицо снегом. – Может, снова померещилось...

Квашнин зашёл в сени. Пробежавшись взглядом по сваленной у стены груде хлама, он задержал его на тазике с розовой замёрзшей жижей, из которой выглядывали какие-то белыё стебельки. Он пригнулся и – хоть и готов был к чему-то подобному – отпрянул: стебельки оказались обгрызенными до костей пальчиками. Что-то ещё было в замёрзшей кровяной бурде, какие-то крошечные подпорченные мышами фрагменты, но Квашнин смотреть не стал, вышел.

– Пойдём отсюда, – сказал он Смирнову, надевая лыжи, – пока ещё чего-нибудь не нашли. Пускай тут менты разбираются.

Возвращались по своей лыжне. Квашнин ехал первым. Впрочем, не ехал – шёл, высоко поднимая ноги с пудовыми от налипшего снега лыжами.

– Это же убийство! Как же так! Ведь образа в каждой избе!.. – восклицал сзади Смирнов.

Квашнин не отвечал, он взмок и при каждом шаге зло кривил рот. Никаких больше Вороньих Ног, никаких посиделок с беззубыми тридцатипятилетними маразматиками, никаких пьяных потаскух с их разбросанными по округе выкидышами. Все тут отравлены болотными испарениями, а может, и испражнениями. Может, шестьдесят лет назад придурковатый пропойца Тимофей, сожрав жабу, свершил – вольно или невольно – шаманистский обряд?.. После чего озеро стало зарастать и гнить, взращивая в своей утробе потустороннюю тварь, какого-нибудь Ктулху районного масштаба.

– Как же так!.. – пыхтел сзади Смирнов. – Скажи мне, старина, как же так?.. Ведь образа…

Квашнин молчал. Не мог разговаривать, до того был зол. Не хотелось связывать находку в «очаге культуры» с Леной, но – связывалось. Ведь не толкали, не гнали – сама, с ветерком, умчалась в этот сивушный морок на пару с мокроносым мотоциклистом. Ребёнка потерять – горе, спору нет, так ведь горевать по-другому можно, себя не изничтожая, в грязь не втаптывая…

А он испугался – так испугался, что почти не помнил, как дверь открывал. Представилось: она под простынёй – мёртвая, окоченелая.

Под вечер прибыл Глеб Баринов. Собрались у Квашнина. Чернявый остроглазый капитан Алексея приобнял, со Смирновым поздоровался прохладно: и в детстве не ладили. Предупредил, что обоим им придётся съездить в отделение к дознавателю. Выругавшись (не свою, мол, работу приходиться делать), Баринов стал записывать свидетельские показания.

– Задали вы мне работы, – ворчал он, – и какого беса вас туда понесло?.. Хотя, с другой стороны, хорошо: я эту суку, Панову, давно мечтал упаковать.

– А может, и не она, – заметил Квашнин.

– Она. Я эту сучку как облупленную знаю, – сказал капитан и, усмехнувшись невесело, добавил: – Да и некому больше, Лёшка, некому...

Закончив с писаниной, Баринов выдохнул: «Фу-ф!» – и, зажмурившись, стал растирать лицо. Молчали. Заросший по уши, бледный, как после болезни, бизнесмен смотрел в пол; усталый капитан – в окно. Квашнин полез в подпол за последней бутылкой.

Баринов оживился:

– Это да, это можно…

Смирнов на бутылку покосился, вздохнул, однако отказываться не стал. На закуску Квашнин открыл банку скумбрии. Сам пить не стал, сослался на недавнее отравление. Выпив по паре рюмок, Смирнов с Бариновым порозовели и воспрянули. Холодок меж ними стал пропадать. Капитан едва всё не испортил, спросил о «Форбсе». Смирнов рассердился:

– Выдумываете чёрт-те что, делать вам больше нечего. У меня небольшой бизнес – и то кручусь, как вошь на гребешке. Обрыдло всё…

Завели разговор о политике. Смирнов соглашался на статус регио-
нальной державы, лишь бы с высоким благосостоянием. Баринов по поводу благосостояния не возражал, но региональный статус отвергал начисто. Смирнов напирал на цивилизованность и общечеловеческие ценности; Баринов ставил на «Калибр», «Синеву», «Армату».

– Жахнуть бы по ним, чертям, из всех стволов – увидели бы тогда санкции! – взмахивал кулаком капитан, но тут же, точно закрывая ядерный чемоданчик, опускал руку: – Нет, нельзя: ребятишки, бабцы у них –
эти не виноваты.

Когда же Квашнин упомянул о мёртвом младенчике, Баринов взялся за своё РУВД, за алкоголика-начальника и в итоге пообещал добраться до некоего Рогова.

– Это в Пивкове который хозяйствует? – поинтересовался Квашнин.

– Тот самый, – подтвердил капитан. – Приезжий он – из Казахстана. Лет пятнадцать уже здесь живёт, – пояснил он Смирнову. – Гнида невероятная, и никак его не зацепишь: прикормил кое-кого...

Баринов рассказал, что ещё год назад в отделение начали поступать звонки: Рогов, мол, использует подневольный труд, то есть держит рабов. Звонки (анонимные) само собой проигнорировали, а от всех инициатив капитана по этому поводу начальство упорно отмахивалось.

– Я тогда у Матушки, начальника нашего, весь порог обил, не хуже побирушки какой, – рассказывал капитан. – Ордер на обыск просил, да где там – одно талдычит: «Глебушко, матушка, никак нельзя: Олег Валерьевич браниться будет!» Олег Валерьевич, это прокурор наш, – объяснил он. – Вот и работай тут…

Распитая бутылка пошла впрок – недруги детских лет расстались по-дружески. Проводив гостей, Квашнин прилёг и задремал. Телефон разбудил его около полуночи.

«Лёш, ты меня не обманываешь?.. Мне кажется, ты меня бросить замыслил…» – вздыхала Вера. «Когда замыслю – скажу. Как ты там? Дома всё работает?» – спрашивал Квашнин. «Интернет почему-то пропадал, а мне так в “Одноклассники” хотелось…» – «Поплакала?» – «Ты всё шутишь…»

Разговоры с Верой стали Квашнину в тягость. Утаивать – всё равно что врать. Рассказать всё как есть не хватало духу. Думал об этом долго и уснул поздней ночью. Проснулся около полудня от стука в окно. Вышел. У крыльца стояла Гусакова Лиза, гулящая бобылка сорока лет.

– Лёха, дай взаймы пару сотен. Завтра отдам, – сказала она скороговоркой и для пущей убедительности добавила: – Кровь из зубов.

Квашнин вынес деньги и спросил, не подскажет ли она, где ему поискать Лену. Пощипав завитки рыжеватых усиков, Гусакова принялась загибать пальцы. Перечислив адреса, где, по её мнению, Лена могла «гужбанить», она перешла к фермерам – потенциальным работодателям. Последним назвала Рогова.

– Мы вместе с ней в сентябре на уборке у него шабашили, – говорила Лиза. – Восемь человек он тогда нанял. Картошку да свёклу кормовую собирали. До самого леса насажал, жадоба. Неделю ковырялись. Он, кажись, тогда говорил, что стряпуха ему нужна. Да тут и гадать нечего – у него Ленка, – заключила женщина, припомнив вдруг игривые переглядки между Леной и Роговым. Она тут же развила тему, присовокупив к переглядкам частые отлучки Лены в сарайчик на отшибе. Квашнин про сарайчик слушать не стал (знал о Лизиной страстишке приврать). Попрощался и зашёл в дом.

После обеда он отправился в Пивково. Подумал, что первая часть Лизиного рассказа похожа на правду. К тому же давно собирался навестить дядю Колю Захарова, родственника по материнской линии.

В Плотникове Квашнин свернул к магазину; у входа, опираясь на палочку и опустив голову, стоял Боря Кадетов.

– Здорово, Борь. Задремал?..

Кадетов поднял голову, по-детски застенчиво улыбнулся и ничего не ответил.

– Борь, язык проглотил?

Кадетов покивал.

– Ты чего, Боря? – спросил Квашнин, заглядывая ему в лицо.

– Пива… – еле слышно шепнул Борис

Для дяди Коли Квашнин купил несколько банок тушёнки, печенья и бутылку вина, для Кадетова – пива. Отдал пиво Борису и пошагал к деревне. По дороге оглянулся: согбенная фигура с палочкой оставалась неподвижна. Стоял тридцативосьмилетний божий одуванчик под ударами снежного бекасинника и чего-то ждал: может, мамку, забывшую его, маленького, в незнакомом холодном месте; может, поезда, который умчит его домой – в солнечную деревню с флагом СССР над крыльцом сельсовета; а может – просто доброго слова от прохожего.

У дома Лены Квашнин не останавливался, только глянул: как висел на двери замок, так и висит. Двинулся в сторону Пивкова. Шагая недавно прочищенной дорогой, думал о Рогове, который представлялся ему нахрапистым пузатым купчиной. В рабов Квашнину как-то не верилось. К чему бы ему, например, нанимать целую бригаду, если рабы у него? Возможно, оговаривают предприимчивого мужика.

Точно лейбл, пришпиленный на сермяжную рванину, среди лачужек Пивкова красовался краснокирпичный трёхэтажный коттедж. По бокам ворот – камеры слежения; молоденькие голубые ели, выглядывающие из-за забора; башенка с петушком-флюгером – благоустроенная, вполне европейская усадьба. Квашнин последний раз был в Пивкове около двух лет назад и помнил только, что на этом месте был огороженный дощатым забором пустырь.

– Етит твою! Лёшка! Проходи! – радовался дядя Коля, бодрый ясноглазый старик.

– Вот, гостинец тебе принёс, – сказал Квашнин, выставляя на стол бутылку с тушёнкой.

– Это ты молодец, да. А то я уж заскучал: давно никто не заходил. Сейчас мы с тобой клюнем помаленьку, – приговаривал старик, скрываясь в кухне, – потолкуем…

Сели за стол в красном углу. Разговор начался с расспросов дяди Коли об оставшихся родственниках и его сетований по поводу отчуждения этих оставшихся. Растерялись, мол, все, поразъехались и даже в родительский день на погост не являются.

На вопрос о Лене – не работает ли она у Рогова? – старик ответил, что Лены в Пивкове нет, иначе она к нему обязательно забежала бы. И прибавил, что у фермера уже работают две женщины из местных.

– Он что твой Троекуров развернулся, ети его в душу, крепостных завёл, – забрюзжал старик, – то ли таджики, то ли узбеки – азиаты, короче говоря. Прячет их, по ночам работают. И думает, что всё шито-крыто, да люди-то чай не дураки. На днях вон Авдотья Павлова рассказывала: встала ночью в уборную и слышу, говорит, орёт кто-то дрянью, будто кожу с живого сдирают. И выглядывать, говорит, не стала: ясно дело – у Рогова в усадьбе кого-то лупцуют. Эх, жаль, пенсия мала! – Дядя Коля прихлопнул стаканчиком по столу, скрипнул короткими жёлтоватыми зубами. – Ей-богу, купил бы винт, как тот дед ну, тот… Ульянов ещё, царствие ему небесное, играл, и кончил бы паразита.

Распалившись, старик сбился с темы. С Рогова он перекинулся на «противных америкашек», прошёлся по европейцам с «их бородатыми бабами» и закончил натовскими генералами:

– Да что они, дуры толстожопые, про войну знать могут, скажи на милость?.. Для нас, русаков, она мать родная – война-то. Вот, к примеру, вычитал я где-то – не помню где – про один бой. Шибко мне понравилось, будто сам там побывал. – И старик принялся за пересказ эпизода – как стало понятно – одной из русско-турецких войн:

– Трам-трам-трататам! – сверкал незабудковыми глазами дядя Коля. –
Каре всё меньше, а они, усачи-то наши, ряды смыкают – и вверх, и вверх! Под барабаны, ядрёна вошь, под барабаны! Побежали басурманы, ети их в душу, хоть и больше их в десять раз. Вот так-то, Лёшка, главное – держать строй. А в мирной жизни мы, русаки, этого не умеем, да…

Распрощавшись со стариком, Квашнин тронулся обратной дорогой. Вспоминал рассказ дяди Коли и думал: «Вот и мы все – вразброд: одни завязли в родном болотце, другие выползли кое-как и радуются на бережку. Вот тебе и трам-тарарам…»

5

Топорща примороженные сучья тополей, над деревней гулял верховой ветер. В небе, которую уже ночь, – ни звезды.

«Лёша, я вот тебя очень сильно люблю, а ты меня не очень, немножко любишь, так ведь?..» – спрашивала Вера смиренно. «Я старый солдат, моё сердце не знает слов любви», – натужно шутил Квашнин. Вера натужности не замечала: «Ты шутишь, Лёша?.. Я заметила, ты любишь про солдат шутить, да?..» – «Ага, сижу вот, суп из топора варю…»

«И правда из топора придётся…» – ворчал про себя Квашнин, проверив бумажник. Деньги были на исходе, а банковскую карту он не захватил: уезжал-то всего на два дня. Лёг пораньше. День предстоял хлопотный: звонил Баринов, сказал, что им, Квашнину со Смирновым, с утра нужно ехать к следователю. Выпив наутро чашку несладкого чаю (сахар закончился), Квашнин пошагал на большак, к автобусу. Хотел постучать Смирнову, но тот уже выходил из дома.

В полиции их промурыжили до трёх часов дня. Следователь то уходил куда-то с бумагами, пропадая подолгу, то ему звонили, то он звонил. Баринова видели мельком: тот заглянул в кабинет и, приказав «Вовану» (следователю) не обижать его, Баринова, земляков, исчез.

Сразу из отделения направились в ближайшее кафе, проголодались. Смирнов съел два вторых, Квашнин – ватрушку с чаем.

Вышли из кафе. По другой стороне улочки быстро прошагал молодой спортивного вида мужчина в чёрной куртке и в чёрной же надвинутой по глаза вязаной шапочке. Квашнин едва его не окликнул: в профиль – вылитый Витька Шишов. Но, конечно, не он. Походка, кажется, не та, да и вообще – не тот типаж.

– Знакомый? – спросил Смирнов.

– На Витьку Шишова здорово похож, не заметил?

– Да нет, показалось тебе. Видел я Витьку недавно: всё тот же милейший вахлачок. А этот… нет, совсем не похож.

До автобуса оставалось ещё два часа; зашли к матери Квашнина. Любовь Петровна занимала две комнатки на втором этаже рубленого стоявшего чуть враскаряку дома. Комнаты тёмные, мебелишка – рухлядь, но иконостас в красном углу богатый. Потрескивая, ярко горела лампада. Любови Петровне было шестьдесят два года, но выглядела она значительно старше. Чёрный платочек; спина дугой – старуха старухой. Любовь Петровна всегда была простовата, разговор вела без обиняков:

– Чего, Сашка, примчался? Не заладилось в Америке-то?.. – спрашивала она, заглядывая Смирнову в лицо.

– Да я, тётя Люба, и не был ни разу в Америке, – смеялся тот. – Неверно вас тут информируют.

– Деньжья-то небось много нажил?..

– Мама, ты лучше чаю гостю предложи, – морщился Квашнин.

Посидели с часик, выпили чаю с вареньем и отправились на вокзал. Полупустой автобус подъезжал к Соломенцам в сумерках. Смирнов вышел, Квашнин же поехал дальше – до Плотникова. Из головы не шёл тот прохожий, которого он чуть не перепутал с Шишовым. Ведь как на Витьку похож – прямо одно лицо. Только вот выражение… сосредоточенное почти до угрюмости – никогда у Витьки такого не бывало.

На подходе к дому Лены Квашнин смотрел вниз, под ноги, всё на-
деялся: мол, подниму голову, а в окнах свет. Не было света. На этот раз он поднялся на крыльцо, проверил замок. Потом обошёл веранду, подёргал ворота. Как и положено, ворота были заперты изнутри. Заглянул в баню: пусто. Решил зайти к Гориным, соседям через дорогу.

– Ну, сегодня от гостей отбоя нет, – говорила Антонина Горина, выглядывая с кухни. – Проходи, Лёшка, щи только из печки вынула. Витька ждать не стал, видать, к Таньке своей торопился.

– Ты про какого Витьку-то, тётя Тоня? – спросил Квашнин, раздеваясь.

– Да Шишов же, какой ещё. Он лошадь у нас оставлял, в город сегодня ездил. На попутке вернулся.

– И что же у него за Танька появилась? – поинтересовался Квашнин, думая о другом. Надо же, в десяти шагах Витьку не узнал, засомневался. Образ друга свёл к набору клише: кроличья шапка, валенки до колен да дурашливая улыбка – вот, мол, и весь Витька Шишов. Не успел он этого обдумать, как хозяйка снова его озадачила: Танькой оказалась та самая медичка, что, по выражению Шишова, «лицом не удалась».

– Подарков ей привёз. Я случайно заглянула в пакет-то, а там тапочки узорчатые, халатик такой красивенький… – рассказывала Антонина.

На вопрос о Лене женщина ответила, что той не видно примерно неделю, но что ничего удивительного в этом нет – бывало, что и дольше не показывалась. Крепко, видать, загуляла.

После ужина Квашнин вежливости ради прошёл с хозяином в гостиную и через минуту понял, что попался. Антон, плюгавенький предпенсионный мужичонка, был по натуре человеком необщительным и немногословным, но после пары рюмок он, как правило, принимался популяризировать свой инженерно-милитаристский проект под названием «Рашен-пресс». Проект заключался в создании циклопического – пяти километров в диаметре и десяти – в ширину (!) – моноцикла, внутри которого должен был располагаться многоуровневый комплекс палуб с ракетными установками, авиацией и десантными группами. Движимый атомными силовыми установками стальной колосс мог преодолеть океан, не говоря уж о морях, и стать форпостом нового мирового порядка (под эгидой, разумеется, российского триколора).

Говоря о своём детище, Антон преображался – то был уже не унылый замухрышка тракторист, а стратег и артист. К тому времени, когда он закончил с описанием конструкции гирокомпасов и перешёл к художественной части – сценкам-экспромтам, разомлевший от сытного ужина Квашнин задремал. Ему снились вьюжная ночь и помигивающие вдалеке огни. Он спешил к этим огонькам изо всех сил: знал, что один из огоньков – светящееся окно, за которым счастливая похожая на Богоматерь Лена кормит сероглазую девочку (свою маленькую копию) и дожидается его, Квашнина. Где-то невдалеке, скрытый пургой, воевал кухонный милитарист Антон. Он то гудел, как делают мальчики, играя в танки, то завывал гнусаво, изображая отчаяние и ужас недодавленных врагов русского мира. «О майн гот! О майн гот… ай-яй-яй!» – вторила ему пурга. Но Квашнину было наплевать и на недодавленных, и на Горина с его дурацким катком: он заходил в дом, и обе Лены, большая и маленькая, бежали ему навстречу.

Тут что-то громыхнуло. Квашнин проснулся и, поймав на себе укоризненный взгляд Антона, спросил бодро (будто не спал):

– Слушай, а если твой агрегат забуксует, чем его потом вытягивать?

– Вот! – воскликнул Горин. – Я об этом тоже думал. Шипы надо…

Тут – к радости Квашнина – из кухни вышла Антонина. Бросив на супруга насмешливо-презрительный взгляд, женщина посоветовала:

– Бегай, Лёшка, скорей, пока он тебе своим катком все мозги не расплющил.

Уже в сенях Квашнин спросил у вышедшей закрыть за ним дверь хозяйки, не подскажет ли она, где ещё можно поискать Лену? Женщина подумала и сказала, что та последнее время якшалась с Лидкой Гороховой, которая уже давненько, живёт в Пивкове у Николая Синицына.

Квашнин вышел, постоял минуту, думая, не двинуться ли прямо сейчас в Пивково. Решил отложить до завтра, устал. Глянув на тёмные окна Лены, он пошагал в Соломенцы. По дороге разговаривал с Верой (обижалась, что он не звонит). Узнав, что у него кончились деньги, всполошилась, обещала с утра выслать.

Лежал, смотрел в потолок со знакомыми с детства сучками и пытался вспомнить какие образы, каких зверюшек он в этих сучках видел мальчишкой? Мешали шипы горинского суперкатка: они всё плыли, плыли под закрытыми веками чередой островерхих Хеопсовых пирамид, и ни конца им не было ни краю. В конце концов пирамиды Квашнина усыпили.

На другой день сходить в Пивково не получилось. В десятом часу утра на бессменном своём мерине прибыл Шапошников с известием – умер Боря Кадетов.

– Дома умер? – только и спросил Квашнин.

– Да, у себя. Егориха к нему ещё спозаранку зачем-то заскочила, а он на топчанчике – уже того, готов. Отмаялся.

Хоть и жалко было Борю от всего сердца, но подумалось Квашнину –
невольно подумалось – о своём: Лена брата любила и, прослышав о его смерти (а вести такого рода разносились по округе со скоростью невероятной), непременно объявится. Квашнин решил ехать. По дороге завернули к Смирнову. Тот засобирался с ними.

Возле крыльца общежития толклись мужики. Одни стояли понурые, зыркали по сторонам тоскливо; другие (видно, что разговлённые) вели беседу, посмеивались, поплёвывали. Шапошников уехал, Квашнин со Смирновым зашли. У Бориной каморки, опираясь на косяк открытой двери, стояла девица в накинутой на плечи просаленной фуфайке и в шлёпанцах. Почёсывая лодыжку одной ноги пальцами другой, она курила и с кем-то, в комнате, перешёптывалась.

С гордым, даже высокомерным видом Борис лежал на своём узком, напоминающем вагонную полку топчанчике со сложенными на груди руками. Морщины, как и все меты тяжёлого, затяжного пьянства, с его лица пропали – лет пятнадцать сбросил Боря, не меньше. Квашнин на помолодевшего Борю долго не смотрел – взглянул и отвёл взгляд. Нет человека, чего уж там смотреть.

На кровати сидела мать Бориса (привезли из Остовищ), болезненно-полная седая женщина, и ещё одна, неизвестная Квашнину, старушка. Накуксившись, скосив полузакрытые глаза в окно, мать покойного что-то тихо бормотала себе под нос. Квашнин подошёл, тронул за плечо.

– Тётя Дуня, родню-то оповестили?

Старуха взяла его руку и, приникнув щекой, окропила влагой.

– Ох, Лёшенька, что родня… Хоронить-то на что, не знаю: у самой на умирало только-только скоплено…

По лестнице процокали каблуки; повеяло духами.

– Эх, Бориска, Бориска, сколько тебе говорено было: бросай! Не послушал, вот и лежи теперь, как воробей, – лапки кверху, – раздалось от двери.

По голосу Квашнин узнал Валентину Сергеевну, мать Лены. Обернулся – и где-то в районе диафрагмы заныло: и сквозь возраст, и сквозь косметику проступало сходство с Леной. Проступило и пропало: другой человек. Женщина подошла к Борису пожурила его, высокомерного, ещё немного, пожалела и склонилась к матери покойного.

– Ничего, Евдокия, шибко-то не переживай. Хуже, чем в этом пердильнике, ему не будет, – сказала она и, достав из сумочки конверт, сунула его старухе: – Это тебе от нас с Павлушей. – Она вздохнула и огляделась, брезгливо вздёрнув губу. Заметила Квашнина.

– Здорово, Лёшка. А моя-то красавица где?

– Не знаю, не могу найти.

Хмыкнув, женщина мотнула головой на дверь – выйдем, мол.

Квашнин спускался по лестнице следом за всё ещё красивой моложавой – даже под шубкой угадывалась гибкая поджарая фигура – женщиной, которая, подобно боевой ракете, несла в себе кумулятивный, пробивной заряд энергии, и думал: «Как бы там жизнь ни складывалась –
счастье, что Лена ничем, кроме лица, на неё не похожа».

На улице Любовь Сергеевна стала говорить (почему-то шёпотом), поглядывая в сторону чёрного внедорожника, чтобы Квашнин передал Лене, что Павлуша обещал снять для неё в Твери квартиру и помочь с работой.

– Пусть тут дурью не мается и едет. Он сделает, коли обещал, Павлуша-то, – нашёптывала она. – Он богадельнями заведует: собак, кошек разных обихаживают. Вот он, Павлуша-то, – Любовь Сергеевна повела глазами.

Из внедорожника вылез упитанный блондин средних лет в расстегнутом демисезонном пальто и встал, расставив ноги и заложив руки за спину. Весь округлый, солидный, с начальственно-невозмутимым лицом.

– Всё, побежала я, – заторопилась Любовь Сергеевна, – передай ей обязательно. – Она подошла к блондину, который неожиданно оказался маленького роста, и они уехали.

Глядя вслед тяжёлой машине, которая играючи сметала на своём пути гребни снежных наносов, Квашнин кривил губы – усмехался ненароком мелькнувшей мысли спросить Любовь Сергеевну о ребёнке Лены. «Был, да сплыл, чего уж теперь…» – ответила бы она скороговоркой. Не тем Любовь Сергеевна была человеком, чтобы о чём-либо сожалеть, пусть даже и о несостоявшемся внуке или внучке, тем паче отягощённая такой заботой – как бы кошачьего попечителя Павлушу не упустить.

На другой день Квашнин никуда не пошёл, пролежал полдня в кровати. Потом кое-как поднялся, затопил печь, сходил за водой и снова лёг. Смерть Бори его, конечно, не потрясла (давно было видно, что не жилец), однако выбила из колеи основательно.

Вечером зашёл к Смирнову. Здоровяк и красавец точно увял; накрывая на стол, суетился по-стариковски, покряхтывал, даже как будто в габаритах уменьшился. Сели пить чай; разговор не клеился, а в конце Александр вдруг сказал: «Знаешь, старина, нет тут никакого Бога». Пояснять он ничего не стал, но понятно было, что сказанное к смерти Бори Кадетова отношения не имеет.

Договорились на завтра встретиться, чтобы проводить Борю. Возвращаясь от Смирнова, Квашнин завернул к тёте Кате Мишинкиной. Ещё в сенях услышал переборы гармошки. Присев на скамеечку возле печки, старуха наигрывала на потрепанной трёхрядке. На столе початая четвертинка водки, закуска. Кивнув Квашнину на стол (мол, проходи, выпей), тётя Катя откинула назад голову и завела: «В ночь её поешт увёш…» Раскрасневшееся личико, голубенькие глазки – куколка-старушка с лубочной открытки. Квашнин засиживаться не стал. Принёс три ведра воды, охапку дров и ушёл к себе.

Когда на следующий день они со Смирновым подошли к общежитию, Борю уже вынесли. До большака гроб несли на плечах, потом погрузили в сани. Среди провожающих Лены не было. До самой Шалихи –
деревни, через которую проходила дорога к кладбищу, – оглядывался Квашнин, вдруг появится. Так и не появилась.

По жиденькой – человек из пятнадцати – процессии хлестал снег. Народ жался в одёжки, прятал лица. На санях по обе стороны гроба сидели три старухи-плакальщицы и мать Бори. Ледащая кобылёнка то и дело останавливалась и, будто желая показать, что вовсе не от усталости останавливается, а по делу, каждый раз вываливала порцию яблок. Чуть в стороне, по бездорожью, сидя в санях, ехал пьяный Шапошников. Сани кренились; Шапошников заваливался то в одну, то в другую сторону и тут же выпрямлялся, как Ванька-встанька. В хвосте процессии, путаясь в полах великанского пальтугана, ковылял престарелый пьянчуга Пётр Астахов. Отхлёбывая на ходу из бутылки, он фыркал по-лошадиному и мотал утеплённой строительным подшлёмником головой.

– Что-то Витьки Шишова не видно, – прикрываясь от ветра воротником, крикнул Квашнину Смирнов. – Не звонил ему?

– Звонил пару раз – недоступен, – ответил Квашнин и подумал, что и правда куда-то Витька запропастился. Раньше стоило приехать – он тут как тут, едва не каждый день наведывался. А в этот раз единожды только и показался…

Хоронили в спешке: погост располагался на холме, и ветер пробирал до костей. Плакальщицы похныкали чуть-чуть и умолкли, дрожа как мелкие собачонки. Только Астахов в броне своей драповой хламиды попытался толкнуть речь. Он выкрикивал что-то, обращаясь то к мёрзлому холмику могилы, то разворачиваясь к озеру – эпицентру снежной круговерти. Грозил кулаком, а вокруг багрового лица с белой щёткой усов точно клапаны будёновки хлопали уши подшлемника. «Иже… еси… ети тя в душу! В крестовину! Бога! Мать!.. Владимирыч, отец ты наш…» – неслось вслед скрюченным, пропадающим в метели фигуркам.

На поминки Квашнин со Смирновым решили не ходить. В общаге через час, а то и быстрее, напьются вусмерть, а в Остовищах, у матери, одни старухи – у них свои разговоры. Прошли Плотниково; у развилки Квашнин остановился и, придерживая капюшон куртки, сказал, вернее, крикнул: «Всё, Саня, давай. Мне в Пивково надо».

Смирнов кивнул и пошагал по большаку. Квашнин свернул и по заметённой дороге двинулся в Пивково. Валки заносов следовали один за другим через каждые два-три метра. А когда проклявший и погоду, и себя дурака, и противную Ленку, Квашнин подходил к деревне, валки слились в один полуметровый слой.

Дверь в избу Синицына оказалась не запертой. В полутёмной прихожей, которая служила и кухней, Квашнин налетел на валявшийся табурет, выматерился.

– Кто ещё там лазит? – донёслось из-за приоткрытой двери подпорченное хрипотцой контральто и добавило тише: – Котёнок, какого хрена дверь не запираешь?

– А ты чё, воров стала опасаться? – саркастически хмыкнул «котёнок».

Больше половины из своих сорока пяти Николай Синицын отсидел, и отсидел исключительно за кражи, так что сарказм его был уместен. В родных краях он, следуя мудрой поговорке, никогда не бедокурил, поэтому и относились к нему без всякой предвзятости.

Встретили Квашнина по-свойски. Рыжий, простоватый лицом, но со сторожким взглядом хозяин сразу после рукопожатия хлопнул на стол бутылку.

– Выпей, Лёшка, – сказал он и добавил: – Не бойся, не отравишься: натуральный продукт.

– И до вас как-то докатилось, – удивился Квашнин.

– Ленка же заходила, – объяснила Лида, толстушка с куцым гидроперитным хвостиком, – она как раз из Соломенец, от тебя шла. Деньги собиралась у Рогова вытребовать, чтобы как-нибудь тебя в больницу отправить. Плакала: боюсь, говорит, помрёт Лёшка. А ты что, не
видел её?

– Не могу найти, как в воду канула. К вам вот завернул спросить.
С похорон иду: Борька Кадетов умер.

Женщина тихонько охнула. Синицын выругался и вздохнул:

– А мы тут засели, как на киче, ни хрена не знаем. Давайте хоть помянем тогда.

Помянули. Выпили по полстакана, вспомнили о незлобивости, кротости покойного, о загубленных его талантах. Ругнули судьбу-злодейку, местных чинодралов и себя самих – равнодушных.

Квашнин собрался идти. Синицын вышел за ним в сени.

– Я Ленке говорил, – сказал он, хмурясь, – чтоб не вздумала там, у Рогова, скандалить. С этим типом аккуратней нужно: напрочь отмороженный. Ты, кстати, тоже имей в виду.

Выйдя от Синицына, Квашнин направился к коттеджу Рогова. Подошёл к воротам; облепленные снегом щурились камеры слежения. Нажал клавишу переговорного устройства.

– Чё надо? – спросили из динамика.

– Выйди на минуту. Вопрос есть, – сказал Квашнин.

Через пару минут из калитки в воротах вышел парень с глупым заспанным лицом.

– Ну, чё те? – провыл он, прихлопывая пятернёй зевок, но, мазнув по Квашнину взглядом, сменил тон: – Извини, дядя Лёша, не узнал сразу.

Парень оказался сыном Сергея Морозова, тракториста, с которым по окончании девятого класса Квашнин работал на посевной и другой раз, припозднившись, ночевал у него дома. Роману – так звали парня – тогда было лет семь. Заметив, что «дядей» его называть не стоит, Квашнин спросил о Лене.

Поморщив немного лоб, Роман припомнил, что да, кажется, заходила. Но вот как уходила – этого он вспомнить не смог. «У Суна надо спросить», – сказал он, пояснив, что на воротах обычно дежурят трое: он сам, кореец Сун и Игнат, «хохлацкая морда»; твёрдого графика не существует – меняются как попало. На вопрос Квашнина, нельзя ли поговорить с его сменщиками, Роман ответил, что «хохла» хозяин зачем-то командировал в Тверь, а корейца придётся искать на территории, так как телефона у него нет. «Завтра приходи, если так уж надо. Я косорылого предупрежу», – пообещал он.

Поблагодарив парня, Квашнин пошагал обратной дорогой. Дома съел «Ролтон», выпил чаю и включил приёмник. Покрутил колёсико настройки и – грянул марш Мендельсона. Рука сама дёрнула шнур: померещились мёрзлые комья, гроб, а в гробу – застывший профиль Лены. Квашнин накинул куртку и вышел на улицу. Стоял на крыльце, втягивал носом холодный воздух. Нельзя позволять себе таких фантазий – беду накличешь.

Сбив панический приступ, вернулся в дом. В сенях услышал соло «Скорпионз» – телефон. «Деньги получил?.. – тревожилась Вера. – Почему не звонишь?.. Когда тебя ждать?..» – «Вера, тут сложный сейчас очень момент, а ты меня с толку сбиваешь... Скоро позвоню. Всё», – сказал Квашнин, не сумев скрыть раздражения. И тут же об этом пожалел.

6

Одетый в одну робу немолодой тёмный лицом азиат стоял на ветру не ёжась и смотрел в шею Квашнина.

– Значит, говоришь, сам видел, как она за ворота вышла?

– Точно, – кивал кореец.

– Сун, на меня смотри, – потребовал Квашнин.

Кореец поднял глаза.

– Как по улице шла, видел? – спросил Квашнин, сам не зная зачем.

– Точно, – кивал Сун.

Всю обратную дорогу Квашнин пытался себя урезонить – выбросить из головы мёрзлые комья. И не мог. Ведь больше недели – ни слуху ни духу, будто с позёмкой её унесло. Последним её видел кореец; врёт, не врёт, поди угадай…

Вечером сидел у окна, мучил одеревенелую голову: что ещё предпринять, где искать? Падающую из окна полосу света пересекла лошадь, за ней – сани. Возница, женщина, смотрела на его окна.

Ольга Монахова искала Шапошникова: не ночевал дома. Уехал с утра на лошади и пропал. Поздно вечером мерин вернулся с пустыми санями. Ольга с утра объехала три деревни – нигде Шапошникова нет. Квашнин напоил гостью несладким чаем (больше угостить было нечем) и успокаивал как умел.

– Он обычно всегда, хоть под утро, да возвращался, – говорила Ольга, – а тут… пропал. Дёргайся теперь... Достало уже это всё… – она смолкла.

Понурившись, смотрела в окно; припухшие глаза, загрубевшая, обветренная кожа.

Квашнин молчал.

– Хороший он, Юрка-то, жалко его, а надо бы мне уйти, – заговорила она снова. – Он меня за собой на тот свет утянет... Сколько уж у нас тут народу перемёрло – не счесть. И всё нестарые ещё мужики, бабы. Работы нет; ехать куда-то надо, а куда?.. Фермерствовать хотят, а сунься поди за ссудой... Не все оборотистые-то, не все. Вот и глушат спиртягу роговскую до сдыху – дёшево и сердито.

– Почему роговскую?..

– Так он же этот, как его?.. Да, дилер. Ему эту отраву откуда-то доставляют, а он уж её по точкам, по спекулянтам развозит. Не сам, конечно.

– Понятно.

Ольга стала собираться; сняла с вешалки куртку и вдруг, то ли хмыкнув, то ли хихикнув, сказала:

– Это… если хочешь, полежим, давай…

– Не выдумывай. Иди, коли собралась. – Квашнин отвернулся к окну.

До ночи прослонялся по дому, всё надеялся – вдруг осенит. Не осеняло. Вышел на улицу. Походил перед окнами, подошёл к ветле у заборчика. Одним давним летом, когда Квашнину было лет четырнадцать, ветлу облюбовал коршун. Прилетал почти каждый день, обычно под вечер. Садился рядом с вершиной, ветка прогибалась под его тяжестью, и, чтобы удержать равновесие, коршун расправлял крылья. Квашнину нравилось смотреть на большую красивую птицу, ему казалось, что не случайно она выбрала это дерево – его дерево. Ему виделся в этом добрый знак. А потом, когда его не было дома, пришёл дядя Гриша Мохов и застрелил коршуна. По-своему Мохов был прав (коршун таскал цыплят), но той же ночью Лёшка выбил стёкла у него в окне. Дело было не в коршуне – Квашнин, взросший под аккомпанемент предсмертных хрипов забиваемого скота, к смерти животных относился по-крестьянски, то есть без сантиментов, – дело было в том, что Мохов вторгся на его территорию.

Вспомнившаяся история с коршуном живо увязалась с Роговым, который в некотором смысле тоже вторгся в чужую территорию. Однако не это сейчас Квашнина беспокоило – беспокоило то, что при упоминании имени фермера у него стали возникать скверные ассоциации. Всё те же мёрзлые комья, то бишь могильный холмик. А холмика – даже умозрительного – Квашнин снести не мог. Стоило ему это вообразить, как беспутная брошенка, подружка мокроносых мотоциклистов оборачивалась семилетней девчушкой, которую он, самозваный брат, потерял где-то на вьюжной тропе, по дороге из школы к дому. От таких мыслей ему делалось плохо до дурноты, и он, торопясь, начинал выстраивать логические цепочки, чтоб такой гибельный сценарий отринуть. Выстраивал, сбивался – и снова видел заснеженное ночное поле с бредущей по нему детской фигуркой.

Почему именно замерзание мерещилось Квашнину, он и сам не знал. С большей вероятностью Лену мог зарезать ополоумевший собутыльник или же она могла повеситься в каком-нибудь чуланчике. Да и Рогов из головы не выходил: так и слышалось за «точно» темнолицего азиата хозяйское напутствие: «Смотри, Сун, лишнего чего не сболтни…»

С утра выпил жиденького чайку и снова пошагал в Пивково. День был хоть и пасмурный, но тихий, внятный. Быстро прошёл прочищенным большаком и свернул на дорогу к Пивково – тоже, на счастье, прочищенную.

– Чего ты опять?.. – спросил Роман из динамика.

– Рогова позови. И скажи ему, если не выйдет, я с Бариновым вернусь, и не с одним.

– Мля-а-а… – проблеял динамик и смолк.

Квашнин закурил и стал ждать. Минут через десять потянулся к кнопке, но опустил руку: за воротами послышались голоса. Высокий мужчина в камуфляжной куртке шагнул было за порог открывшейся калитки, но обернулся и махнул кому-то досадливо (иди, мол, без тебя разберусь). Встал напротив Квашнина. Университетский тип: правильные подсушенные временем черты; очки в золотой оправе; за стёклами –
льдистый, оцифровывающий взгляд.

– Ну, молодой человек, что за шум?

– Пименову ищу. К вам зашла, и всё – больше её не видели.

– Вам же, кажется, Сун объяснял.

– Он двух слов связать не может.

Рогов вздохнул сдержанно (отвлекают, мол, разной чепухой) и детально обрисовал обстоятельства встречи с Леной. Говорил с нотами доброжелательности. Сказал, что рассчитался с Леной полностью,
что никаких претензий с её стороны не было и расстались они по-дружески. Напоследок он добавил, что своими глазами видел, как Лена покинула территорию усадьбы, вышла за калитку. «Я как раз в конторе нашей у окна стоял, – сказал он и, уже взявшись за дверь, добавил: – Вот, собственно, и всё. Удачи».

– А давайте запись с камер посмотрим, – сказал Квашнин.

Доброжелательности в голосе Рогова ничуть не убавилось.

– Послушай, сынок, так дело не пойдёт, – поправив очки на переносице, мягко заговорил он, – ты тут ходишь, выспрашиваешь непонятно что, людей моих от дела отрываешь, меня теребишь, и никто, заметь, тебе слова худого не сказал. По-человечески к тебе – выслушивают тебя, объясняют, а ты что же, наглеть начинаешь?.. У меня, милый, это не прокатит, даже не думай. Ступай потихоньку и больше сюда не приходи. А Баринову своему передай: будет доставать – себе хуже сделает.

– Передам, – сказал Квашнин и, развернувшись, пошагал к выходу из деревни. Обдумывал разговор. И впрямь дядя непростой: как-то не по себе от его ласковости стало. Но, похоже, не врёт – он тут ни при чём. Что же теперь? С чего начинать?.. Оставалось одно – начинать сначала.

Половину Плотникова заселяли приезжие – эти Квашнина не знали. Стучал в окна; за заборами бесновались крупные, как на подбор, собаки. Некоторые хозяева – не хуже собак – источали подозрительность, смотрели косо. В одном месте дородная старуха напустилась на Квашнина с бадиком, в другом – он едва увернулся от зубов лютого кавказца.

Помогли доброжелательные забулдыжки. В предпоследнем от края домишке похмельная парочка Лёлик и Толик назвали две деревни – Ромачёво и Закрупье, о которых, по их словам, Лена частенько упоминала. В одной из этих деревень (в какой именно, Лёлик с Толиком не помнили) один зажиточный фермер настойчиво звал Лену замуж, в другой ей предлагали работу в пошивочной мастерской.

Ромачёво с Закрупьем располагались с другой стороны районного центра; нужно было город объезжать, и в итоге выходил крюк в полсотни километров. Без машины не обойтись. Тут Квашнин вспомнил о переводе и пошагал на почту. Деньги пришли; дело стало за паспортом. Пришлось возвращаться в Соломенцы.

Дома съел последний «Ролтон», отдохнул с полчаса и пустился в обратную дорогу. Получив деньги, зашёл к фермеру из местных. Иван Шипарёв, грузный пятидесятилетний мужик, Квашнина признал, однако цену заломил немалую, пришлось поторговаться.

Выехали в четвёртом часу. Сначала Шипарёв ворчал на Квашнина, мол, надо было пораньше приходить, чтоб вернуться засветло; затем, как-то хитро славировав, он переключился на власть имущих и не-
ожиданно рассвирепел. «Нет, подумать только, пятьсот миллиардов!.. Пятьсот миллиардов – коту под хвост!» – кричал он, тряся перед собой мясистой багровой пятернёй. Припоминая всё новые и новые «косяки» «этих подлюг», он с силой хлопал по баранке ладонями и каждый раз резко при этом тормозил. Квашнин забеспокоился – как бы в кювет не слететь. На счастье, запал фермера пошёл на убыль: «Когда же они о народе вспомнят, а, Лёха?.. Когда совесть-то у них проснётся?..» – уже смиренно, с горечью, вопрошал он. Вопрос был риторическим; Квашнин промолчал. Замолчал и фермер.

До Закрупья добрались ещё засветло. Поспрашивали у прохожих о пошивочной мастерской. Их направили в соседнее Ромачёво. Доехали до Ромачёва. В мастерской – бетонной коробке из двух комнат – работали четыре женщины. Одна из них – симпатичная молодая брюнетка –
оказалась хозяйкой. На вопрос Квашнина о Лене сделала удивлённое лицо: сто лет её не видела, но, кажется, да, разговор о работе у них был. Тогда Квашнин спросил о женихавшемся фермере.

– Да, да, помню, – заулыбалась девушка, – это дядя Коля Фролов. Он ко всем подряд сватался, до того, бедный, досватался, что в дурку увезли. Правда, правда, – подтвердила она, заметив недоверчивый взгляд Квашнина, – с ума сошёл.

Обратной дорогой возвращались в сумерках. На подъезде к Соломенцам Квашнин как бы между делом завёл разговор о Рогове. Тот, судя по всему, Шипарёву нравился: «Артист!» – сказал он, причмокнув и покачав головой. Затем последовала история о том, как изящно Рогов обманул фермера Зеленкова, известного пройдоху, да его же прилюдно и осрамил. «Артист!» – с удовольствием повторил Шипарёв.

– Артист… – сказал Квашнин, глядя на красные огоньки удаляющегося пикапа. Задумавшись, он постоял ещё минуту, потом двинулся к Соломенцам. Когда подходил к дому, позвонила Вера. Разговаривать он с ней не стал, попросил перезвонить через час. Зашёл в дом, разулся и лёг прямо в куртке. Смотрел в потолок и ни о чём не думал; не сказать, что был сокрушён, просто измотан. Как отреагирует Вера, когда он скажет ей всё как есть, не волновало его сейчас – устал, не хватило его на Веру.

Задремал, однако уснуть не успел: снова позвонила Вера. Спросила после паузы: «Лёша, чего молчишь-то? Почему так дышишь?..» – «Воздуха набираю…» Набрал воздуха и рассказал. Теперь замолчала Вера. Помолчав, сказала, что таких благородных людей, как он, она ещё не встречала и что он всё правильно делает. «Спасай её, Лёша, если ещё можно спасти, – сказала она, – а обо мне не беспокойся. У меня всё в порядке».

Такого Квашнин не ожидал и – никакого облегчения. Лучше бы попрёки да слёзы – как в таких случаях заведено. Своим «обо мне не переживай» Вера только добавила ему груза. «И ведь от души говорила, дурочка малахольная», – думал он, который раз вытаскивая из тухнущего дисплея её фотографию.

Засыпая, путал в мыслях Лену с Верой, спасал обоих, а они спасали его. На другой день, около полудня, пришёл Смирнов. Бизнесмен выглядел приободрённым, потерянность из глаз пропала. Сказал, что на днях уедет и хотел бы поддерживать связь. Поговорили немного, и тут объявился Баринов.

– В Остовищах был. Следак попросил съездить, уточнить кое-что насчёт убиенного младенчика, – сказал он. – Вот и завернул: дай, думаю, к парням заскочу. Разъедетесь, когда ещё увидимся.

Капитан, несмотря на вымотанный вид, был как-то нервически оживлён – потирал ладони, дёргал щекой и без нужды нырял взглядом за окно. А когда Квашнин ему это заметил, сказал, снова потерев ладони, что скоро он накроет Рогова.

– Убедил ребят без ордера рискнуть. Всё равно мы его, суку, раскрутим, а победителей не судят, – сказал он и, помрачнев, добавил: – Про Юрку-то Шапошникова слышали? Вчера в больницу привезли. Пьяный с саней свалился, обморозился. На ногах несколько пальцев отсекли, но, говорят, гарантии нет.

– Какой гарантии нет?.. – спросил Квашнин.

– Что ноги сохранить удастся.

Смирнов засобирался было ехать с Бариновым в город, в больницу, но тот его отговорил: дескать, с утра лучше ехать, когда Юрка окончательно в себя придёт.

Капитан взглянул на часы и заспешил. Квашнин вышел за ним на крыльцо.

– Вы когда к Рогову-то собираетесь нагрянуть? – спросил он.

– Сегодня ночью, а что?

– Да так… просто спросил.

Баринов прищурился:

– Ну-ка, ну-ка, поподробней.

Квашнин рассказал о своих невнятных подозрениях.

– Что ж ты молчал, дуралей?.. От этого чёрта чего угодно ожидать можно. Но ты не парься: весь навоз из него вытрясу – что надо и что не надо расскажет. Будь уверен. – Баринов усмехнулся; левая щека и глаз дёрнулись в судороге.

На крыльцо вышел Смирнов.

– Чего шепчетесь?

– Да вот думаем, как Сашку Смирнова половчей отоварить. Опять, сука, бабке растрепал, что курили за амбаром, – смеялся Баринов. – Ладно, парни, счастливо! – Он пошагал по тропинке.

Квашнин со Смирновым смотрели ему вслед. Удалялся товарищ детских игр – резкий, поджарый, с волчьей повадкой. «Этот, пожалуй, вытрясет…» – вспомнив слова Глеба, подумал Квашнин.

День тянулся долго. Чтение, тихая его гавань, который уж день было для него недоступно: из предложений выпадали слова, он искал их, находил, но терял смысл. Смотрел на ряды теснившихся в обшарпанных рамках фотографий и недоумевал: зачем их вывешивали? Подбоченившиеся коротышки с чубами, какие-то девицы, старики, старухи – все точно сурикаты тянули напружиненные шеи вверх. Хотя нет, сурикаты живые милые зверюшки, а эти – все как один – со стеклянными глазами чучел. Загримированные мертвецы, которых когда-то было модно фотографировать в домашнем интерьере, выглядели более живыми.

Тут Квашнин подумал о Лене – сохранились ли её фотографии?.. Где-то, кажется, должны быть… детские. Он вытащил из тумбочки два потрёпанных альбома и, усевшись на пол, принялся их перелистывать. Незакреплённые, рассованные как попало, фотографии сыпались на пол, он просматривал их мельком, откладывал в сторону. Закончив с альбомами, выгреб из тумбочки старые журналы, газеты, какие-то ведомости и принялся перебирать. «Как же так… – бормотал он, перетряхивая журналы, – не может такого быть…» Когда уже почти всё было просмотрено, перелистано, перетряхнуто – из старой «Работницы» выскользнула чёрно-белая с загнутым уголком фотография. Квашнин поднял её, сел на диван ближе к светильнику. Две девочки, касаясь плечами, стояли на фоне низкого большого солнца, обеим лет по двенадцать. Видно, какой-то мальчишка (не он ли сам?) щёлкнул их «мыльницей» мимоходом. Почти неразличимые лица с тенью улыбок, протуберанцы распушённых волос, смазанный задний план, – всё было призрачным на этой фотографии. Призрачный мир.

Квашнин погладил фотографию и, не выпуская её из рук, подошёл к окну. Смотрел в темноту и думал том, что хорошо бы ему сейчас напиться – напиться вдребезги, чтобы выплакаться, наконец, прорыдаться как следует с матерщиной и проклятиями дикому заозерному своему стоицизму, то бишь твёрдолобости. Ведь как увечный за подпорки цеплялся за здравый смысл; во главу угла ставил набор мелкотравчатых обезьяньих истин, по которым всего главней, чтобы удобно было, сытно, седалищу мягко. Для того и с бабой сошёлся, и денежки зарабатывал, да что денежки – самообразовывался и то ради удобства, чтобы уж и душе мягко было. И так вроде всё ладненько, ровно двигалось – уже и трёшка в новом кирпичном доме просматривалась, и «Улисс» неподдающийся сдавал позиции, а всё ж таки поскрёбывало что-то на душе, ныло... А другой раз и совсем погано становилось: вроде потерял что-то необыкновенно важное для себя, ценное, а что именно – никак не вспомнить. Оттого и застывал столбом посреди рабочего дня, стоял на пандусе, морща лоб; и всё шарил, шарил глазами по стенам, крышам, небу пустому – подсказку высматривал. А подсказка-то в тумбочке под телевизором, в старой-престарой «Работнице»: вот она, утрата, – мир, где живут стойкие неандертальцы и великодушная девочка Лена…

Оставаться дома стало невмоготу. Квашнин оделся и пошагал к тёте Кате. Принёс ей воды, дров и сидел, слушал старухины россказни про её весёлого доброго мужа Павла Мишинкина, который помнился Квашнину плешивым желчным старикашкой.

7

Вернулся домой, и не успел раздеться, как явилась Гусакова. Не постучала, как было заведено, а сразу зашла в избу – трезвая, смиренная видом. В руках – початая бутылка водки.

– Лёха, выпей со мной, пожалуйста, – сказала она. – Неприятности у меня.

Квашнин отказался наотрез – сказал, что должен прямо сейчас уходить. Так же смиренно Гусакова заметила, что, несмотря на собственные неприятности, она пришла с хорошими для него новостями, но коли ему некогда, она может и в другом месте выпить. Квашнин приоткрыл дверь – пора, мол.

– Ладно, – согласилась Гусакова и, уже шагнув за порог, пробормотала: – Не хочешь – как хочешь. Она там тоже не больно-то горюет.

– Кто?..

– Ленка твоя, кто ещё…

Он взял Гусакову за плечо, заглянул в лицо: усишки; капелька под носом; глаза пустенькие – ничего не разберёшь, смотри не смотри. Лиза скинула его руку, пошла к лестнице. Квашнин её вернул. Усадил за стол, поставил перед ней стаканчик, принёс закуску – ломоть хлеба, соль и луковицу.

– Больше ничего нет, извини, – сказал он.

Одна Лиза пить отказалась, дескать, не алкоголичка какая. Пришлось Квашнину выпить. После первой же стопки Лиза без проволочек поведала, что встретила в Плотникове тётю Дуню Шенькову, которая видела Лену и даже разговаривала с ней.

– И где же она есть, Лена-то?

– Лена, Лена… Я выпить с тобой пришла, поговорить, а ты заладил… Не у одного тебя неприятности.

Выпили ещё. Пришлось выслушать о Лизиных неприятностях. Луиза, кошка Гусаковой, пришла с гулянья с обгрызенным хвостом и, кажется, изнасилованная. Занемогла. Квашнин посочувствовал и спросил, что же всё-таки рассказала тётя Дуня о Лене.

– В Дубровке она, на работу тама устроилась.

– Так и знал!.. Чёрт тебя... Там уж лет пятнадцать никто не живёт. Ты меня что, специально изводишь?..

Сокрушённо покачав головой (что, мол, за народ недоверчивый пошёл), Гусакова разъяснила, что уже как года три в Дубровке обосновались две семьи из Питера, построили там коровник и благополучно фермерствуют.

Квашнин начинал Лизе верить. Взглянул на часы: без двадцати десять. От Соломенец до Дубровки не больше семи километров.

– Лиза, может, съездим?

– Не уж, извини. Тащиться на ночь глядя…

– Я тебе пятьсот рублей дам. И бутылку сверху.

– Тысячу и бутылку тоже. В Плотникове и купишь.

Квашнин согласился, а Лиза, вдруг усомнившись, потребовала показать деньги. Он показал. Ровно в десять они вышли из дома.

В Плотникове, купив у спекулянтов бутылку водки, завернули к Ольге Монаховой и застали её в растерзанном виде (со страшного похмелья). Стала плакать, корила себя: «Сука проклятая! – причитала она. –
Юрка помирает там, а я… только и узнала… Второй день – в сопли». Квашнин предложил ей похмелиться, а сам отправился за дровами (в доме, как и обычно, было нетоплено).

Женщины выпивали; Квашнин тем временем растоплял голландку. Насчёт лошади договорились; пора было выезжать, однако запьяневшая Лиза, не желая оставлять бутылку, тянула время. «Как хочешь, Лизавета, а я поехал», – сказал Квашнин, направляясь к двери. Гусакова, хватанув на посошок, поспешила следом и, пока он запрягал лошадь, всё пыталась выманить у него тысячу.

Выехали из деревни. Санный след уходил в поле – укрытую сырой мглой плоскость. Лошадью правила Лиза. Несмотря на её грозные понуканья, мерин не спешил, трусил еле-еле. Сзади горели огоньки Плотникова; с левой стороны мерцала цепочка огней Пивкова. Минут через двадцать, повертев головой, Гусакова пробормотала: «Вроде здеся…» –
и стала заворачивать. Теперь ехали по бездорожью. Дряхлый мерин стал уставать и, когда Лиза дёргала вожжи, возмущённо всхрапывал.

Непонятным образом (Квашнин потерял ориентацию) они оказались у самого леса и ехали вдоль его опушки. Огоньки деревень отдалились. Стали встречаться кусты и отдельные деревца; скоро ехали по редколесью. В конце концов мерин встал. Квашнин злился. Надо же таким дураком быть: нашёл кому поверить.

Он вылез из саней и минуту успокаивал животное: поглаживал, приговаривая, что на ум придёт, потом вернулся в сани и взял вожжи. Мерин тронулся. Вскоре впереди показался силуэт строения. Подъехали. Полуразрушенная кирпичная будка. Чуть дальше виднелся покосившийся сарай с торчащими в разные стороны стропилами. Квашнин вдруг вспомнил: они были на месте, где раньше стояла дубровская молочная ферма. Сама деревня должна была находиться шагах в трёхстах, прямо за будкой; однако, кроме темнеющего в серой мгле кустарника да редких деревьев, впереди ничего не было – от Дубровки не осталось и следа.

– Что ж ты, Лиза, – сказал Квашнин, – поверил тебе…

Гусакова, которая прикорнула на сене, громко засопела. Вдалеке треснул выстрел – и как по команде повалил крупный мокрый снег. «Не из ружья палят, – отметил про себя Квашнин, – что-то посерьёзней…»

Выехали из подлеска; огоньки деревень скрылись за глухой завесой снегопада. Хоть как-то сориентироваться стало невозможно. Квашнин в подобных переделках бывал не раз, так что его это не испугало. Заблудились, похоже, но ничего страшного: лошадь дорогу всегда найдёт. Хлопнув вожжами по крупу мерина, он завязал их на передке саней, устроился поудобнее и прикрыл глаза.

Забирая влево, мерин ускорял шаг; уютно посапывала Гусакова. Квашнин угрелся и, задрёмывая, уже видел свет заветного окна, где его ждали две Лены – маленькая и большая, – как вдруг невдалеке послышался собачий лай. Он сбросил отяжелённый снегом капюшон, огляделся: с обеих сторон плотные ряды сосен – просека. Завертела головой Лиза:

– Ты куда заехал-то?

– Куда надо. – Квашнин развязал вожжи, подхлестнул мерина.

Просека могла привести только в одно место – в Красный Вихрь с его единственным обитателем Виктором Шишовым. В предчувствии корма и отдыха мерин перешёл на бодрую рысь и вскоре вынес сани на обширную овальную поляну, где из-за облепленных снегом скирд светил огонёк. Лаяла собака.

Мерин остановился у сколоченных из жердей воротец. Дом заслоняли скирды. Сбоку, освещая крышу сарая, на невысоком столбе горел фонарь. Квашнин слез с саней, открыл воротца и, не обращая внимания на заходящегося лаем пса, пошагал к тёмному дому. Поднявшись на крыльцо, он приготовился постучать в дверь, но опустил руку: на двери висел замок. Огляделся: ни следа – все дорожки завалены снегом. Взглянул на часы: без нескольких минут полночь.

– Эй, ну чё ты там застрял?.. – торопила из-за скирд Лиза.

Квашнин направился к саням, но его окликнули:

– Ты кого с собой притащил? – прошипел вынырнувший из заулка Шишов. Он был на лыжах; за плечом – ствол.

– Да Лизка это Гусакова, заблудились с ней. А ты чего не спишь? Всё браконьеришь?..

– Иди, скажешь, что спал я, – не отвечая, приказал Шишов.

Слегка удивлённый Квашнин пошагал к воротам. Лиза только привязала лошадь и несла ей из саней охапку сена.

– Чего он там, дрыхнет, что ли? Выпить-то у него есть?.. – спрашивала она.

Зашли в дом. В спортивных штанах, футболке и тапках на босу ногу (только, мол, поднялся) Шишов убирал со стола. Быстрыми чёткими движениями он в какую-то минуту навёл в кухне порядок. Позвал за стол. Лишь только Квашнин с Лизой уселись, на столе появилась бутылка самогона. На газовой плите шипела сковорода. Звякнула об пол тарелка; Шишов выматерился с таким ожесточением, что, задохнувшись, смолк. И тут же рассмеялся: «Вот ведь мудила косорукий…» – сказал он, разведя руками.

Непонятная нервозность Шишова пропадала по мере убывания самогона, однако ж не тот это был Витя, что знал Квашнин. Улыбается так же широко – а взгляд каждое движение гостей сторожит. Цепкий, настороженный взгляд – напряжён Витя до предела, хотя вряд ли бы кто посторонний заметил. Квашнин замечал.

Гусакову развезло. Она порывалась завести речь о несчастной Луизе, но всё как-то сбивалась: подводил язык. Шишов наливал пьяной стопку за стопкой, чокался с ней, но сам пропускал.

– Хорош ей плескать, Витёк, – заметил Квашнин. – Она и так уже никакая…

– А ты не лезь, понял? – прикрикнула Гусакова. – Ты мне тысячу мою давай. У меня Луиза хворает, а я тебя по экскурсиям вожу! Да ну тя, – махнула она, поворачиваясь к Шишову. – Наливай, Витёк!
А хочешь, к тебе перееду? Жить с тобой будем по-взаправдашнему! Могёшь?.. – хохотала пьяная.

Привстав со стула, она потянулась к Шишову. Её мотнуло и – понесло от стола. Открыв спиной прикрытые сворки двери, Лиза кувыркнулась в тёмную комнату.

Шишов вскочил. Зыркнув на Квашнина, он бросился к Гусаковой, ухватил за подмышки – и опустил назад. Рядом стоял Квашнин.

– Что ж ты, Витя?.. Я ищу, а ты молчишь… – проговорил он. – Там она?.. – он мотнул головой на следующую, закрытую дверь.

Шишов указал глазами вниз, на Лизу, которая бормотала что-то, ворочаясь по-крабьи у них в ногах. Подняли, усадили за стол.

– За здоровье милой Луизы! – сказал Квашнин, протягивая пьяной стакан с самогоном.

Запрокинув голову, Гусакова тянула самогон; Шишов готовил для неё ложе, расстилал возле печки тулуп. Продержалась женщина ещё минут десять. Пыталась говорить, смеялась, вскрикивала, потом её точно выключили. Квашнин успел её подхватить и отволок на приготовленный тулуп. Вернулся за стол и спросил:

– Ну?

– Чего «ну»? – буркнул Шишов. Сидел, ссутулившись, смотрел в сторону. Взглянул на Квашнина и снова отвёл глаза.

– В лесу еле живую её нашёл. Босиком. Спина изодрана чуть не костей – кнутом, суки, поработали. Принёс домой, лечу теперь. Только не в себе она – не узнаёт... Ёжится всё, вздрагивает.

– Что ж ты мне-то не сказал?

– Ты в Москве, с бабой живёшь. Вот и подумал… Дурак, конечно, да что уж теперь…

– Так в больницу же надо.

– В больницу… – усмехнулся Шишов. Чтобы бы ей там пальцы на ногах оттяпали, как Юрке Шапошникову? А у меня жир барсучий, мёд, травы за печкой. Всё заживает. С головой вот только, не знаю…

В темноте белела расстеленная постель. Квашнин присел у изголовья, смотрел на истончившееся до опасного предела лицо и думал, что вот он и добрался, наконец, до заветного окошка и обе Лены перед ним –
большая и маленькая – в одном лице. И правда, при слабеньком рассеянном свете, что едва сочился из приоткрытых дверей, Лена походила на девочку – не совсем маленькую, на подростка, какой она была на той старой фотографии. Он потянулся поправить одеяло; из-под одеяла змейкой вынырнула рука, ухватила его за запястье и утянула руку под одеяло.

– Лёша… – голос сонный детский.

– Узнала никак… – прошептал от дверей Шишов.

Квашнин хотел высвободить руку, потянул осторожно. Пальцы её сжались – не отпускает. Так он и сидел подле неё, пока не заснула. Вышел на цыпочках из комнаты, прикрыл дверь. Присел за стол к Шишову. Тот сидел невесёлый, вертел перед глазами стакан с самогоном.

– Кто же это её так? Рогов?.. – спросил Квашнин.

– Он или шестёрки его. Да без разницы – всё равно он. Я в тот же день по следам её прошёл. Из его усадьбы она бежала: от задней калитки следы с кровью. Не знаю, как ей вообще сорваться удалось…

– Я сейчас, – сказал Квашнин. Он вынул из куртки телефон и вышел в сени. Глянул в тёмное оконце; в оконце – угловатая с наглухо запечатанным ртом и с провалами вместо глаз маска – его, Квашнина, лицо. «Страшный какой… – это хорошо…» – подумал он и набрал Баринова. Ожидая соединения, рылся в сваленных на буфете инструментах. Искал какое-нибудь железо поухватистей. Наткнулся на острое:

– Сука!

– Чего?.. – удивился Баринов.

– Да я это не тебе… укололся. Глеб, слушай, ты в Пивкове сейчас, да?.. У Рогова?.. Не дашь мне с ним пару минут наедине потолковать, а?.. Позарез нужно, – спрашивал Квашнин, с вожделением оглядывая кустарной работы шило со слегка поржавевшим игольчато-острым жалом. – Я тут неподалёку, подъеду сейчас.

Баринов на это как-то нервно захихикал и сказал, что сам бы с этим Роговым хотел потолковать, да не получится.

– Понимаешь, Лёшка, ну никак ты с ним сейчас не потолкуешь, – повторил он, как показалось Квашнину, с удовольствием. – Пару часов назад какой-то умелец продырявил ему голову. Железной пулей. Прямо над ухом дырка. Со стороны леса стреляли, с высотки какой-то или с дерева. Он, покойник-то, чай пил в гостиной… уютно так и – нате вам! И ведь как подлецы подгадали: только сделали дело – и снег! Как из прорвы – валит и валит…

Баринов ещё что-то говорил о потайном подвальчике, о замурзанных людях азиатской наружности, которых из этого подвальчика вызволили, но Квашнин его уже не слушал, попрощался и прервал связь. Взглянул на зажатое в побелевших пальцах шило, бросил на буфет. Зашёл в комнату. Шишов продолжал заниматься со стаканом, теперь он двигал его по столу, не отрывая от него глаз, будто важнее и дела не было. Квашнин сел напротив, плеснул себе самогона.

– Витёк, стреляли в лесу недавно, не слышал? – спросил он.

– Нет, не слыхал, – сказал Шишов без всякого выражения. – Рано лёг: умаялся – навоза много накопилось, целый день возил. Так бы и спал, если бы не вы с Лизкой. – Он поднял глаза от стола, секунду-другую смотрел перед собой, потом снова опустил.

Короткий этот взгляд так напомнил Квашнину отца с невыразимой дремучей его печалью, что собравшись уже сказать: «Да брось, Витя, знаю я всё», – он сказал другое: «Да, верно, спал ты. Давай тогда выпьем… хоть за снег, что ли…» Они выпили, после чего Квашнин попросил какую-нибудь подстилку, чтобы лечь рядом с Леной.

Притворив дверь, он лёг возле кровати на старый полушубок и слушал ровное дыхание Лены. Он был спокоен, даже умиротворён, будто и не было никакого выстрела, а снег пошёл просто так – без умысла замести следы. Несмотря на усталость и туманивший голову хмель, сон не шёл. Этой ночью, как только Квашнин догадался (осенило вдруг), кого Шишов прячет за закрытыми дверьми, его добрый простофилистый друг представился ему перевёртышем, чуть ли не волкодлаком, затаившимся в своих красновихренских дебрях. И только эта зловещая муть успела в его голове развеяться – как тут Баринов с известием о «железной пуле» и не преминувшая припомниться встреча в районном центре с неузнаваемым, чужим Витей. И подумалось тогда Квашнину, стукнуло: «Киллер! Киллерюга, мать его!..» Однако стоило ему увидеть глаза друга – всё встало на свои места, отлегло от сердца. «Витька как Витька, только прибитый, придавленный – каким его сроду никто не видел, – думал Квашнин. – Да и немудрено: поперёк натуры своей пошёл. Жил тут один, молился доброму своему Богу, птиц слушал, мог бы и дальше слушать, так нет, не утерпел. Не утерпела простецкая его душа низости человеческой: ведь когда она, низость-то, через край, кто-то обязательно должен равновесие миру вернуть. Вот он и вернул. А может, ещё и оттого стрелял, что шило предвидел – предвидел и взял грех на душу. Вот и смотрит теперь так, по-неандертальски…»

Под утро его разбудили голоса – Шишов выпроваживал Гусакову. Та уезжать не желала, требовала разбудить Квашнина, чтобы получить с него тысячу. «Лиза, совесть-то имей, – плачущим голосом говорил Шишов. – Вчера в одиннадцатом часу заявились, разбудили, и сейчас спать не даёшь. Собирайся, давай, езжай себе потихоньку. Лёха будить не велел, пусть спит. Потом разберётесь».

«Молодец Витька, – подумал Квашнин одобрительно, – не забыл позиции свои закрепить». Подумал и уснул. Еще раз он проснулся, оттого что чьи-то пальцы ощупывали его лицо; он эти ощупывающие пальцы поцеловал – узнал руку Лены – и снова уснул. Окончательно проснулся, когда из-за занавесок пробивался дневной свет.

С истончённым умиротворённым лицом Лена лежала с открытыми глазами. Квашнин вдруг так испугался (умиротворение показалось знаком наступающего умирания), что сердце, бухнув по рёбрам, остановилось. Тут она улыбнулась – чуть-чуть, уголками губ – и спросила, отчего он такой перепуганный. Потом попросила помочь ей сесть.

А потом они ехали – ехали просекой, затем полем, перечеркивая дикую его белизну следом санных полозьев. Проезжали Пивково: про-ехали мимо благоустроенной, вполне европейской усадьбы, где у ворот с казёнными запретительными лентами стоял глупый Рома Морозов и смотрел потерянно; проехали мимо избушки ясноглазого старика дяди Коли Захарова; проехали и мимо дома доброжелательного вора-рецидивиста Николая Синицына.

В передке саней, изредка взмахивая талиной и понукая лошадь, в истёртой кроличьей шапке сидел простофилистый с виду Витя Шишов; сзади – закутанная в тулуп Лена и сосредоточенный Квашнин. Миновав деревню, они снова оказались в поле и санным путём двинулись в сторону озера, на берегах которого и много дальше – насколько хватало глаз – жили их стойкие соплеменники.